
АНТОН АБРАМОВ
На этом острове не умеет лгать никто, кроме меня.
ЛЕДОСТАВ

Антон Абрамов

Ледостав

«Автор»
2026

Абрамов А.

Ледостав / А. Абрамов — «Автор», 2026

Мама Марины не врет никогда и ни в чем, даже про Деда Мороза. Осенью Марина находит в коробке с документами старую газетную вырезку. В 2001 году девочку с маминой девичьей фамилией прозвали на ладожском острове Лгуньей, и в декабрьскую ночь она ушла оттуда по льду, который еще никого не держал. Мама дочитывает заметку и отвечает двумя словами, после которых в их доме разговор кончается.Сказав маме, что поступила в интернат в Сортавале, Марина последним катером перед ледоставом уплывает на остров из заметки, в старый лицей. Ученики здесь сами судят своих и приносят присягу Острову, после которой ложь обрывается на первом слоге. Новеньким до присяги сорок дней, и Марина пока врет напропалую.Через пять дней подо льдом находят Глеба, первого, кто был здесь к ней добр. У полыньи стоит шест с ее бантиком. Остров узнает, что она дочь Лгуньи, и решает, что Марина приехала мстить. Сама она знает, что не убивала. Значит, убийца среди тех, кто не может солгать.

© Абрамов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая 5
Присяга 5
Глава 1. Катер 5
Глава 2. Директор 9
Глава 3. Сорок дней 13
Глава 4. Голос 17
Глава 5. Тасина зима 21
Глава 6. Шесть вех 25
Глава 7. Зал 29
Глава 8. Сцена слуха 33
Глава 9. Вольная 38
Глава 10. Шторм 42
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Антон Абрамов
Ледостав

Мысль изречённая есть ложь.
Ф. И. Тютчев. Silentium!

Часть первая

Присяга

Глава 1. Катер

Понедельник, 23 ноября, 15:00

На Острове присягнувший не лжёт голосом. Это свойство места, а не правило, и Устав его не отменяет.

Устав Острова, статья 1. О голосе

На этом острове не умеет лгать никто, кроме меня.

Я поверила в это ещё с воды, до того как ступила на камень, и верила ровно пять дней, пока подо льдом не зажёгся свет.

Последний катер отошёл от причала в Сортавале в три часа дня, и к тому времени, как город скрылся за мысом, я уже грела ладони о крышку термоса, устроившись на мешке с мукой в тесной рубке, и вовсю врала лодочнику, который начал первым и уступать не собирался. Очень скоро мы перестали делать вид, что верим друг другу, и просто слушали, как ладно у нас выходит.

«Щука у меня в позапрошлом году на блесну села». Пётр Ильич держал штурвал одной рукой, второй показывал, какая, и рука уезжала в открытую дверь рубки, прямо в ветер. «Тащил её до самого Валаама. Вернее, она меня тащила. Монахи вышли на берег и крестились».

«На щук не крестятся». Я подула на чай. «Её бы благословили и съели».

«Вот!» Он хлопнул ладонью по штурвалу. «Половину и съели. Вторая до сих пор где-то здесь ходит, обиженная. Ты руку за борт не свешивай».

Катер шёл шхерами. Из воды один за другим поднимались гранитные лбы островов, и сосны на них держались за камень корнями, как пальцами за край стола. Низкое медное солнце висело над самым лесом и совсем не грело, вода под ним лежала тяжёлая, цвета остывшего крепкого чая, и только у камней уже схватилась первым ледком, белёсым, как сахарная корка на варенье. Было минус пять. Ладога ещё дышала, но с каждым утром всё медленнее, и я слышала это без всякого градусника, потому что слушать лёд меня учила мама.

«Сама-то откуда?»

«Из Мурманска».

Я была из Петрозаводска, и Онего семнадцать лет плескалось у меня под окнами. Мурманск звучал дальше. В тот день мне нужно было оказаться от мамы как можно дальше, хотя бы на словах.

Пётр Ильич посмотрел на меня поверх очков, не поверил ни на секунду, и так ему было даже веселее.

«Хороший город. Я там три года капитаном ходил. На атомном ледоколе».

«И как?»

«Скучно. Ломаешь лёд, ломаешь, а он обратно нарастает, и никакой благодарности». Он горестно вздохнул, я прыснула, и он засмеялся следом, коротко, в усы, очень собой довольный. «Ты, девонька, наговорись со мной впрок. На берегу я человек молчаливый».

«Почему?»

«Присяга».

Он ответил без подмигивания, глядя прямо перед собой, на воду, и я не поняла, врёт он сейчас или нет.

«Сорок лет на Острове одну правду говорю, без выходных. Только на воде и отдыхаю. Катер у меня вроде санатория: отчалил и сочиняй себе, пока до ступени не дошёл».

«До какой ступени?»

«Увидишь».

Я решила, что это ещё одна щука. Про присягу я, конечно, знала: в правилах для поступающих она стояла отдельным пунктом, между медицинской справкой и запретом на телефоны. «На сороковой день обучения ученик принимает присягу Острова». Что после неё бывает с голосом, там не говорилось ни слова.

Мою маму на этом острове зовут Лгуньей.

Сама она не врёт никогда и ни в чём. Правду о Деде Морозе я узнала от неё в четыре года и проплакала до самой ёлки, а в девять спросила, почему она такая. «Я училась в одном месте, где все говорили правду», ответила мама. «Привыкла».

Что это за место, я поняла только этой осенью, когда искала для поступления своё свидетельство о рождении: под ним в коробке с документами лежала вырезка из районной газеты за декабрь две тысячи первого года, пожелтевшая, с ломкими сгибами, под заголовком «Ладога пропустила». В заметке рассказывалось про девочку, которая ночью ушла с острова в шхерах пешком, по льду, ещё никого не державшему, и дошла до материка, а на острове её прозвали Лгуньей. Фотографии не было. Девочку звали так, как звали маму до замужества. Я положила вырезку на кухонный стол рядом с маминой чашкой, и мама дочитала её медленно, как читает журналы на гидропосту, где двадцать лет меряет онежский лёд, сложила листок вчетверо и ответила двумя словами, после которых у нас дома разговор кончается, а дальше хоть плачь. За остальным я поехала сама.

Поступала я под папиной фамилией. Папа живёт в Петербурге с новой семьёй и подписал согласие прямо в машине, на коленке, не спросив, что это за лицей. Маме я сказала, что меня взяли в интернат в Сортавале, на физмат, и что связь там плохая. Я смотрела, как Сортавала уходит за мыс вместе с почтой, откуда я якобы буду писать маме письма, а первое письмо уже складывалось у меня в голове, гладкое, с такими подробностями, которым мама поверит сразу, и меня мутило, хотя качки почти не было.

«Вон он».

Пётр Ильич снял руку со штурвала и ткнул пальцем в стекло.

Остров поднимался из воды серым горбом, длинным, заросшим соснами, и сначала ничем не отличался от тех, что мы прошли. Через минуту из-за сосен выступила башня, острая, с флюгером в виде рыбы, а за ней и весь главный дом, тёсаный гранит и высокие окна, в которых уже горел жёлтый свет. Левее, на отдельной скале, стояла тёмная деревянная колокольня, и мачта антенны на соседней скале, растянутая тросами, как палатка, рядом с ней выглядела гостьей, которая заехала на минуту и осталась. Казалось, старинную гимназию оставили на этом камне лет сто назад и вспомнили о ней только теперь, когда пора было закрывать навигацию.

«Колокол видишь?» Пётр Ильич понизил голос, хотя слышать нас было некому, кроме чаек. «Сам звонит, когда на Острове кто соврёт. Ты при нём поосторожнее».

«Я же новенькая. Мне можно».

«Ему не объяснишь». Он прищурился на колокольню с уважением, как на начальство. «Старый, глуховатый. Звонит на всякий случай».

Слева, совсем близко, через узкую протоку, проплыл маленький голый островок с одной кривой берёзой и бревенчатой избушкой в одно окно на самой макушке; на двери висел замок. Над дверью кто-то вывел белой краской, крупно и неровно: КАРЕТА.

«Это что?»

«Гостиница. Для почётных гостей». Пётр Ильич не повернул головы. «Кто там переночует, того утром прямо домой и везут. Сервис».

«Почему Карета?»

«Потому что подают».

Он засмеялся, но уже не так, как над щукой, и прибавил газу. Я долго смотрела на островок в заднее стекло. Избушка стояла на ветру, на самом верху, и единственным окном глядела на Остров, а к материку повернулась глухой бревенчатой стеной, чтобы тот, кого туда сажали, до утра видел, откуда его выставили.

Причал был длинным деревянным настилом на сваях, обледенелым по краям. Катер подходил к нему боком, крошил забереги, и от хруста льда под днищем у меня ныли зубы. В конце причала, там, где доски упирались в берег, стоял парень в чёрной куртке и красной вязаной шапке, натянутой до бровей. Перчаток у него не было; он сунул кулаки под мышки и щурился на лёд у свай.

Глеба я знала пять дней.

Он поймал конец, который бросил ему Пётр Ильич, накинул петлю на кнехт, затянул одним движением, не глядя, и только тогда поднял глаза на рубку.

«Пётр Ильич, опять?»

«Что опять? Я всю дорогу молчал». Лодочник заглушил мотор, и тишина упала на воду разом, с запахом солярки и снега. «Подтверди, девонька».

«Ни слова». Я выбралась из рубки с рюкзаком. «Как рыба».

Парень перевёл взгляд на меня. Глаза у него были светлые, ресницы белые от инея, и моё «как рыба» он выслушал очень серьёзно, только уголок рта у него на секунду поехал вверх.

«Ершова?» Он вынул из кармана листок, твёрдый от мороза. «Марина. Последняя в этом году».

«Почему последняя?»

«Катер больше не придёт. Лёд встаёт, через пару дней здесь уже ничего не пройдёт». Он протянул руку, и я взялась за неё, перешагивая с борта на доски. Рука у него была горячая, хотя он держал её на ветру, и шершавая, с трещинками на костяшках. «Глеб. Староста».

Пётр Ильич уже стоял рядом с плоской круглой жестянкой из-под леденцов, на крышке которой финские буквы стёрлись почти до серебра. Он открыл её. Внутри было пусто и пахло мятой.

«Телефоны сдаём. Правило. Получишь на каникулах, целенький».

«Нет у меня».

Телефон лежал в подкладке куртки, в прорехе под левым карманом, и я чувствовала его рёбрами. Соврала я легко, не думая, той частью головы, которая у меня всегда отвечает первой, когда что-нибудь хотят забрать.

Пётр Ильич пожал плечами. Мы стояли на причале, над водой, и ему было всё равно.

«Нет так нет».

«Здесь так не отвечают», мягко поправил Глеб.

«Как же тогда отвечают?»

«„Не скажу“». Он поправил шапку, и иней посыпался у него с ресниц. «Не хочешь отдавать, говори „не скажу“. Никто проверять не станет. Это нормальный ответ».

Я молчала, а это «не скажу» медленно, как льдина в протоке, поворачивалось у меня в голове другим боком. Этими двумя словами мама закрыла разговор о вырезке и ими же отвечала мне всю жизнь, стоило спросить, почему у неё нет ни одной школьной фотографии. Я считала их её собственным упрямством, таким же маминым, как почерк, пока парень в красной шапке не выдал мне их между делом, как инструкцию к чайнику.

Глеб ждал. Он понял, что телефон у меня есть, понял сразу и промолчал, только разглядывал меня, как разглядывал бы ключ, найденный в кармане старого пальто, прикидывая, от какой он двери.

В среду он сам скажет мне, от какой. Ответа от меня он уже не услышит.

«Ладно». Глеб забрал у меня рюкзак, ни о чём не спрашивая, и закинул себе на плечо. «Пошли. Ужин в шесть, а до ужина тебя ждёт директор».

Пётр Ильич двинулся первым, с мешком муки на плече и почтовой сумкой в руке, и всю длину причала говорил, не оборачиваясь, громко, на весь залив.

«...а Лгунья, девонька, до сих пор по ночам ходит. По льду, в белом, с фонарём. Как ледостав, она и выходит, я её сам каждую зиму ви...»

Он ступил на гранит.

Причал кончался широкой гранитной ступенью, стёртой посередине тысячами подошв; у края в трещину вмёрзла рыжая сосновая игла. Нога Петра Ильича опустилась на ступень на слове «видел», и слово не вышло. Оно оборвалось на первом слоге, как у причала смолк под его рукой мотор, и лодочник закашлялся, согнувшись под своим мешком. Изо рта у него вырвался пар, слишком густой для минус пяти, и на секунду я увидела его лицо, растерянное и разом постаревшее, и губы, которые всё ещё пытались договорить.

Он держался за перила, пока не отдышался, и поправил мешок. Голос у него стал совсем другой, тихий и ровный.

«Никого я не видел».

И пошёл вверх по тропинке к дому, не оглядываясь, и до конца вечера не сказал при мне ни одного лишнего слова.

Я стояла на последней доске причала. До ступени оставался один шаг.

«Не бойся». Глеб уже стоял на граните и обернулся ко мне. «Это не больно. Холодно только, как снега глотнуть. И тебя не тронет, ты не присягала. Сорок дней можешь говорить мне что угодно».

«Что угодно?»

«Хоть что я красивый».

«Ты не красивый».

Он засмеялся коротко, от неожиданности.

«Вот теперь мне сорок дней гадать».

Я шагнула на камень.

Ничего не случилось. Гранит под ногой был скользкий от наледи, и где-то в главном доме кто-то неумело, одной рукой, играл на пианино гамму, вверх и вниз, вверх и вниз, и на верхней ноте каждый раз сбивался и начинал снова. «Я из Мурманска», шепнула я себе под нос, и голос меня послушался, как всегда. Глеб не услышал. Или сделал вид.

И тут телефон у меня под рёбрами дрогнул.

Один раз, коротко. Последняя палочка сети, пойманная ещё с катера, принесла что-то и погасла. Достать телефон я не могла, Глеб стоял в двух шагах. Мама пишет мне всегда одно и то же, два слова без знаков препинания и без смайликов, и я знала их наизусть, но сегодня они догнали меня ровно в ту секунду, когда я ступила на мамин остров.

«Ты где»

Глава 2. Директор

Понедельник, 23 ноября, 16:30

Новый ученик присягает на сороковой день. До присяги его слово не обязывает ни его, ни Зал.

Устав Острова, статья 3. О сроке

В главном доме от тепла у меня сразу заломило пальцы, и пахло воском, которым здесь, похоже, натирали всё подряд, от перил до подоконников. Глеб поставил мой рюкзак у лестницы, пообещал отнести его в комнату и, уже сворачивая в боковой коридор, бросил через плечо, что директор ждёт наверху, в башне, за дверью с медной ручкой, и что стучать надо два раза.

Вдоль лестницы висели выпускные фотографии, по одной на каждый год. На всех человек по двенадцать в серых свитерах стояли в два ряда перед одной и той же колокольней и смотрели в объектив по-паспортному серьёзно. Я поднималась, читая годы под рамками, на две тысячи первом остановилась и стала разглядывать лица по одному, хотя толком не знала, кого ищу. Семнадцатилетнюю маму я видела только на одной карточке из бабушкиного альбома, где она хохочет, зажимая рот ладонью, и ни одна из этих девочек на неё не походила. На две тысячи втором её тоже не было, и в башню я поднялась, злясь на себя за то, что надеялась.

Кабинет был круглый, с окном во всю стену, и за окном догорал над заливом короткий ноябрьский день; Лодочный островок с Каретой уже стал в нём плоским и чёрным, как вырезанный из бумаги. Директор поднялся мне навстречу, высокий, чуть сутулый, с сединой на висках, которой для его лет было многовато, и улыбаться из вежливости не стал. Когда взрослые улыбаются мне из вежливости, я начинаю подозревать, что им уже позвонила мама.

«Константин Андреевич». Он указал на стул. «Садитесь».

Документы он читал до последней строчки, каждый раз выравнивая стопку по краю стола, прежде чем перевернуть лист, а я разглядывала его длинные пальцы и заусеницу на большом, обкусанную до красноты, которая никак не вязалась со всей этой аккуратностью.

«Документы в порядке». Он закрыл папку. «Место свободное. Присяга на сороковой день, второго января. До присяги ваше слово не обязывает ни вас, ни Зал».

«Какой зал?»

«Зал составляют ученики, и он решает дела Острова. Подробности вам расскажут сегодня же, и не по одному разу».

Он снова раскрыл папку на первой странице и опустил глаза на мою фамилию. Смотрел он на неё, пока у причала за окном не зажёгся первый фонарь, и я вспомнила о телефоне в подкладке и о двух маминых словах, которые всё ещё не прочитала.

«Вы похожи на одного человека».

«На ко...» Я осеклась. Здесь он ответил бы правду или «не скажу», и ни того, ни другого я бы сейчас не вынесла. Под папиной фамилией я поступала как раз на такой случай, но лицо-то у меня было мамино, и если он знал маму, то хватило бы одного звонка на материк, чтобы вся моя Сортавала рассыпалась к утру. Я зажала ладони между коленями и смотрела на фонарь у причала, за окном синело всё гуще, и мне казалось, что мы оба думаем об одной и той же женщине, которой в этой комнате нет.

«Если до присяги решите уехать, скажите мне». Он положил ладонь на папку. «Катера до весны не будет, но я найду способ отправить вас домой».

«Я не уеду».

Он ничего на это не ответил, только посмотрел на меня ещё раз, внимательно и, как мне показалось, устало, и я подумала, что таких обещаний он за свою жизнь наслушался вдоволь.

Из ящика стола он достал тонкую книжку в сером картонном переплёте, без единой буквы на обложке, и подвинул её ко мне.

«Устав. Первые семь статей прочитайте до среды. Вам понятно?»

Я кивнула.

Вопроса он не повторил. Он сидел, спокойно глядя мне в лицо, и я уже собиралась кивнуть ещё раз, пошире, на случай если он близорук, но он всё ждал, и кивать второй раз я передумала.

«Понятно». Вышло на весь кабинет, и директор, по-моему, впервые за весь разговор улыбнулся. В дверь постучали два раза.

«Это Матвей. Он покажет вам Остров».

Матвей вошёл и первым делом бережно, двумя руками снял с шеи огромные наушники, какие я видела только в старых фильмах про радио, и лишь после этого посмотрел на меня. Он был ниже Глеба и тоньше, в сером шарфе, намотанном в два оборота, волосы падали ему на глаза, и он сдувал их уголком рта, а когда заговорил, я невольно прислушалась: голос у него был низкий, неожиданно взрослый для такого худого лица.

«Голос», представил его директор.

«Это должность». Матвей протянул мне руку, и после горячей ладони Глеба его пальцы показались мне прохладными. «Если без должности, Матвей».

Мы вышли в синие сумерки. Тропинки, посыпанные песком, разбегались от крыльца между соснами, и за одним поворотом открылась оранжерея, запотевшая изнутри до молочной белизны, совершенно неуместная в ноябре на голом граните и оттого особенно уютная. Матвей шёл чуть впереди, рассказывал, оборачиваясь, и между делом спросил, откуда я. Я ответила «из Петрозаводска» и только через несколько шагов сообразила, что Мурманск остался на причале, вместе с лодочником и его щукой.

«Интернета у нас нет, есть радио. Каждое утро в восемь я читаю ледовую сводку и новости, если они есть. Обычно их нет, поэтому сводку я читаю медленно».

Радиоузел прятался у подножия Антенной скалы, низкий каменный дом с одной трубой, и внутри было жарко, как в бане, от печи-голландки в синих изразцах, гудевшей в углу за медной заслонкой. Над пультом висела тёмная лампа с надписью «ЭФИР», и на полке рядом с ней стояли два катушечных магнитофона, тяжёлых даже на вид. Воздух был сухой и пах нагретой пылью и почему-то уксусом.

«Это лента». Матвей заметил, что я морщусь. «Старая лента так пахнет, когда начинает разлагаться. Когда-нибудь она вся рассыплется, и я останусь сторожить пустые коробки».

Тем же ключом со шнурка на шее, каким отпирал входную, он отпер дверь в заднюю комнату и щёлкнул выключателем. До самого потолка уходили стеллажи, плотно, корешок к корешку, заставленные плоскими картонными коробками, и на каждой была наклейка с датой. Почерки на наклейках менялись от полки к полке, и по ним одним, наверное, можно было бы прочитать историю Острова, не включив ни одной записи. «Зал. 14.02.1998». «Выпускной. 2004». «Ревизор, второе действие».

«Здесь голос каждого, кто учился на Острове». Матвей провёл ладонью вдоль ближнего ряда, не касаясь картона. «Если человек хоть раз говорил здесь в микрофон, в Зале или со сцены, он здесь есть. Самая старая запись, где основатель читает Устав, стоит вон там, наверху».

Полку с табличкой «2001» я увидела сразу, хотя смотреть на неё запретила себе ещё на лестнице. Коробки на ней стояли редко, с просветами, и на одной выцветшими до серого синими чернилами было выведено «Зал. Декабрь». Маме в том декабре было семнадцать, и где-то внутри, на коричневой ленте, она говорила в микрофон, ещё не зная, что её назовут Лгуньей, или уже зная. Я не заметила, как моя рука поднялась и легла на корешок. Картон был тёплый от печи за стеной.

«Архив открыт присягнувшим». Матвей стоял у меня за плечом, и я не слышала, как он подошёл. «Новеньким по разрешению Зала. Через сорок дней будешь слушать что захочешь».

Я убрала руку.

«Я просто читала даты».

Это была моя первая ложь кому-то на камне, и далась она так же легко, как все прежние. Матвей промолчал. Он поправил коробку с декабрём, хотя она и так стояла ровно, и выключил свет.

К антенне вели ступени, вырубленные прямо в скале, и железный поручень вдоль них обжигал холодом даже сквозь перчатку. Наверху ветер с залива сразу сорвал с Матвея конец шарфа и захлопал им у него за спиной. Мачта уходила в темноту и тихо гудела, а от неё к кольцам, вбитым в гранит, тянулись тросы растяжек, уже седые от инея.

«В шторм на них нарастает лёд». Матвей тронул ближний трос, и тот отозвался низко, как басовая струна. «Ветер их раскачивает, лёд тянет вниз, и если вовремя не сбить, мачту положит. Тогда я поднимаюсь сюда с этим».

У скалы, прислонённый к кольцу, стоял шест раза в два выше Матвея, гладкий, отполированный ладонями до светлого блеска. Я взялась за него, чтобы прикинуть вес, но шест сразу повело ветром, и Матвей перехватил его у меня над головой.

«Романтика». Я сунула замёрзшие руки в карманы. «Ты тут, значит, по ночам один с палкой против стихии».

«Если шторм ночью, то и ночью». Он поставил шест обратно к кольцу так же аккуратно, как директор выравнивал свои бумаги.

Сверху был виден весь пролив, тёмный, с белёсой каймой первого льда у камней. Внизу горели окна дизельной, а за полосой чёрной воды сидел на своём камне Лодочный островок, и избушка на его макушке стала теперь просто тенью без окна.

«Там камни под водой». Я показала на цепочку светлых пятен, тянувшуюся от береговой ступени к Лодочному островку. «Лёд по ним встанет первым».

Матвей опустил руку, которой уже собрался показать мне то же самое.

«Луда. Откуда знаешь?»

«Мама научила». Это вырвалось само, и я прикусила язык, но Матвей уже смотрел вниз, на пролив.

«Когда встанет, Савва, наш ледовый дежурный, поставит по ней вехи от ступени до самого Лодочного». Он помолчал. «Карету ты, наверное, уже видела».

«Лодочник сказал, это гостиница».

«На воде он и не такое скажет». Матвей улыбнулся одним углом рта. «Туда уходят по решению Зала. Ночь в сторожке, утром катер на материк».

«Катер же до весны не придёт».

«Зимой по льду. По вехам».

На островок он смотрел дольше, чем на всё остальное, что мне показал, и я заметила, как он оттянул шарф от горла. Я не спросила, о чём он думает. После коробки с декабрём я сама была бы не рада такому вопросу.

«Лодочник ещё говорил, что колокол звонит сам, когда кто-нибудь соврёт».

«Эту историю я слышал». Матвей застегнул куртку до подбородка. «Сам ни разу не слышал, чтобы он звонил без звонаря».

Ответил он без улыбки, и смеяться я начала шага через три.

«Тут все так шутят?»

«Все, кто присягнул. Привыкнешь. Если станет совсем плохо, приходи в радиоузел. Там тепло, и можно молчать сколько угодно, этого у нас никто не запрещает».

В столовую мы пришли последними. Под низкими сводами западного крыла пахло ухой и лавровым листом, за длинными столами сидело человек семьдесят, и, когда мы вошли, раз-

говоры на секунду смолкли и тут же покатились дальше, только теперь, я это чувствовала, немного в мою сторону. Матвей ушёл к столу в дальнем углу, где уже сидел Глеб, без шапки, с мокрыми светлыми волосами. Глеб подвинул ему тарелку, даже не взглянув, кто сел рядом, и я стояла с подносом посреди зала, пока не сообразила, что за тот стол меня никто не звал.

Я села с краю, где было свободно, и съела уже несколько ложек ухи, когда напротив поставили поднос.

Девушка, поставившая его, была моих лет и держалась очень прямо, а светлая коса у неё была заплетена туго, волосок к волоску. Серыми глазами она разглядывала меня в упор, и я на всякий случай вытерла подбородок.

«Ершова».

Это был не вопрос, но она ждала ответа, и я нарочно кивнула, глядя ей прямо в глаза.

«Здесь отвечают вслух».

«Я ответила».

«Ты кивнула». Она развернула салфетку и положила её на колени. «Кивок здесь ничего не значит. Кивнуть можно и неправду, даже присягнувшему. Присяга держит только голос, остальное у нас врёт так же, как у вас».

«У нас?»

«У новеньких. На материке». Она взяла ложку. «Меня зовут Инга. Я судья».

«В Зале?»

«В Зале».

За нашим краем стола стало тише, даже девочка слева перестала жевать, а во мне поднялось то упрямое и весёлое, за что мама зовёт меня ершом.

«Ты поняла, что я сказала?»

Я посмотрела на её разглаженную салфетку и вспомнила причал и иней, сыпавшийся с ресниц Глеба.

«Не скажу».

За столом стало совсем тихо, только у окна кто-то уронил ложку. В дальнем углу Глеб коротко, на два пальца, поднял в мою сторону кружку с компотом. Инга смотрела на меня секунды три, ни разу не моргнув, и я не разобрала, разозлилась она или впервые заинтересовалась мной всерьёз.

«Хорошо». Она опустила глаза в тарелку. «Это допустимый ответ».

Суп она доела молча и, сложив салфетку вчетверо, уголок к уголку, встала. Проходя у меня за спиной, она задержалась и наклонилась так, чтобы слышала только я.

«Сорок дней, Ершова. Я запомню, как ты отвечала, пока могла».

Глава 3. Сорок дней

Понедельник, 23 ноября, 21:00
Присягнувший расписывается в Книге присяги. Книга хранится в библиотеке.
Устав Острова, статья 20. О Книге присяги

Вечер новичков устроили в библиотеке, и к девяти между стеллажами набилось полшколы, хотя новенькая на этот раз была одна. Библиотека занимала два этажа восточного крыла, с галереей вдоль стен и узкими лесенками на колёсиках, и пахла бабушкиными антресолями, сладкой бумажной пылью. В камине трещали берёзовые поленья. Прямо над ним по белой штукатурке потолка расползалось чёрное пятно копоти, неровное, с длинным языком в сторону окна, и побелка вокруг него давно пожелтела.

Глеб сунул мне в руки кружку какао и усадил в кресло у самого огня, единственное, из которого не торчали пружины. Остальные расселись кто на подлокотниках, кто прямо на ковре, и рядом со мной на ковёр опустилась девочка с круглым лицом, усыпанным веснушками, хотя на дворе стоял ноябрь.

«Вера». Она подтянула колени к подбородку. «Мы с тобой живём в одной комнате. Я звонарь, так что если ночью услышишь колокол, значит, я лунатик».

Она засмеялась, уткнувшись носом в рукав свитера, и я впервые с причала улыбнулась.

Под пятном, на высокой конторке, лежала под стеклом раскрытая толстая книга в тёмном переплёте, и многие, рассаживаясь, сначала смотрели на неё и лишь затем на меня.

Начинался вечер новичков, по словам Веры, всегда с игры «Своими нельзя», и старшие пришли ради неё. Спрашивать в этой игре можно было о чём угодно, а отвечать только цитатой.

«Цитатой можно что угодно, даже неправду». Вера дышала мне в ухо какао. «Это же не ты говоришь, это Пушкин».

Вопросы полетели по кругу. Девочка в пуховом платке спросила рыжего мальчишку рядом с собой, сделал ли он на завтра химию, и тот встал на ковре в полный рост.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Ковёр повалился от хохота, потому что тетрадь по химии торчала у мальчишки из кармана нераскрытая. Ингу, которая сидела на нижней ступеньке лесенки, такая же прямая, как за ужином, спросили, справедлив ли Зал.

«Зал составляют судья, двое выборных, староста и Голос». Она отвечала ровно, как у доски. «Обвинённый в своём деле не сидит».

Последнюю строчку младшие на ковре договорили хором, вместе с ней, и застонали. Высокого парня в чёрном свитере с горлом до подбородка, стоявшего у камина спиной к огню, кто-то с ковра спросил, почему он не староста. Парень запрокинул голову к потолку.

«А судьи кто?»

Смеялись все, кроме Инги и Глеба.

«Арсений», шепнула Вера. «Он у нас Чацкий».

Я хотела спросить, прозвище это или роль, но очередь уже дошла до Глеба.

Глеб играть отказался и своими словами сообщил, что хочет спать. Ему под свист засчитали поражение, а спорить он даже не подумал.

«Новенькая». Арсений смотрел на меня от камина. «Зачем ты к нам приехала?»

Цитат у меня в голове было предостаточно, но все они разом куда-то делись, как мелочь из дырявого кармана, и я ляпнула первое, что пришло.

«За морошкой».

Засмеялись не сразу. Сначала в библиотеке стало тихо, совсем коротко, на один вдох, и мальчишка на ковре замер, не донеся кружку до рта. Вера первой фыркнула в какао, за ней засмеялись и остальные.

«Не цитата», заметила Инга.

«Теперь цитата. Я же её только что сказала».

«Раз новенькая так умеет». Арсений поставил кружку на каминную полку. «Пусть знает, чем это у нас кончается».

Он указал, не оборачиваясь, на пятно на потолке, ровно на чёрный язык копоти.

«Двадцать пять лет назад, в декабре, здесь сгорела Книга присяги. Кто её поджёг, не установили. В том же декабре одна девочка солгала Залу. Её отправили в Карету в первую ночь ледостава, а утром Карета была пустая. Следы, говорят, шли по льду, который в ту ночь не выдержал бы и лисы, и обрывались у самого материка. Она дошла». Он обвёл глазами младших на ковре. «Её зовут Лгуньей».

«Говорят, лёд её оправдал», вразнобой закончили за него младшие.

Какао у меня в кружке пошло мелкой рябью, и я обхватила кружку обеими руками, чтобы это прекратить. Рассказывая про мою маму, Арсений смотрел на меня одну, а младшие подхватывали знакомые слова, как припев.

«Говорят, это она и подожгла», подал голос кто-то из них.

«Она бы не...»

Я уткнулась в кружку на полуслове и глотнула какао, обжигая язык. Вера покосилась на меня, но промолчала.

«Этого никто не установил», напомнила Инга.

«Потому и говорят». Арсений снова взял с полки свою кружку.

Слово «подожгла» повисло под чёрным пятном на потолке. Я смотрела на пятно и вспоминала, как мама дома ставит под каждую свечку блюдце с водой и ни разу на моей памяти не вышла из комнаты, пока свеча горит.

«После пожара Книгу подписали заново». Матвей сидел на подоконнике, обняв колени, и говорил своим низким радиоголосом. «Все присягнувшие, кто тогда был на Острове, двадцать седьмого декабря. Первая страница вон там».

«И присяга не ослабла», добавил Глеб. «Ни у одного человека. Значит, держит место. Книга тут ни при чём».

«Держит место», легко согласился Арсений, и младшие на ковре переглянулись. «Только с тех пор нет-нет да и найдётся кто-нибудь, кто решит проверить, оправдает ли его лёд».

Глеб поставил кружку на пол, и какао плеснуло на ковёр.

«Хватит».

«Я рассказываю то, что рассказывают всем новеньким».

«Я знаю».

Стало слышно, как в камине оседает прогоревшее полено. Матвей на подоконнике медленно разматывал и снова наматывал на руку конец своего шарфа и смотрел на Глеба, пока тот не поднял на него глаза.

«Половина десятого». Инга поднялась первой. «Отбой в одиннадцать».

Все задвигались, загремели кружками. Арсений, проходя мимо моего кресла, остановился.

«Испугалась, новенькая?»

«Нет».

«Врёшь». Он с любопытством склонил голову набок. «Тебе пока можно».

Он ушёл, а я ещё долго сидела с ощущением, что меня на секунду просветили насквозь, как чемодан в аэропорту, и что-то там нашли.

Когда библиотека почти опустела, я подошла к конторке. Книга лежала открытой на первой странице, и наверху каллиграфическим почерком было выведено «27 декабря 2001 года». Ниже теснились десятки подписей, взрослых и совсем детских, и маминой среди них быть не могло, потому что к двадцать седьмому декабря её на Острове уже не было. Зато в радиоузле на полке стояла коробка с надписью «Зал. Декабрь», и ждать сорок дней, пока мне разрешат её послушать, я не собиралась.

Глеб обходил библиотеку, собирая брошенные кружки, и с двумя пустыми в руке остановился рядом со мной.

«Через сорок дней ты тоже здесь распишешься».

«Если захочу».

Он ответил не сразу. Кружки у него в руке звякнули друг о друга, и он перехватил их покрепче.

«Если захочешь». Он не уходил. «Я рад, что последней приехала ты».

На Острове он не мог сказать этого из одной вежливости. Я уставилась в Книгу, на подписи двадцатипятилетней давности, и читала их подряд, пока он не унёс кружки.

Наша с Верой комната была на третьем этаже, под самой крышей, и окно в ней смотрело прямо на колокольню. Над Вериной кроватью висела фотография колокола, снятого крупным планом, в такой же рамке, в какой у бабушки висит дедушка, а на подоконнике стояла банка морошкового варенья с ложкой, воткнутой прямо в варенье.

«Ты, пока Арсений рассказывал, кружку двумя руками держала». Вера облизала ложку. «Льда боишься?»

«Боюсь».

Это была правда, и следом за ней едва не вырвалась вторая, про маму, и пришлось отобрать у Веры ложку и сунуть в рот морошку. Вера не обиделась. Она забралась под одеяло и стала рассказывать, что морошку ей каждую осень присылает тётя из Кеми, которая собирает её на одном болоте, где однажды... и уснула на полуслове, не рассказав, что там однажды случилось. Я лежала в темноте и слушала, как она дышит, пока не убедилась, что она спит.

Телефон я достала из подкладки только в коридоре. Экран засветился и показал ноль делений и время, без пятнадцати двенадцать. Где искать сеть, я знала с той минуты, как увидела в окне колокольню, потому что выше неё на этом острове не было ничего, на что можно залезть.

Снаружи было тихо, иней на траве хрустел под ногами, и я шла по краю тропинки, стараясь ступать на камни. Колокольня стояла на своей скале чёрная, без единого огня, и дверь внизу не запиралась. Внутри пахло старым деревом и голубями, лестница уходила вверх винтом, узкая, без перил, и некоторые ступеньки стонали под ногой, и на каждой такой я замирала, как цапля, с поднятой ногой и считала до десяти.

Наверху была площадка с четырьмя проёмами на все стороны света, посередине висел колокол, огромный, с позеленевшим краем, и от него тянуло холодом, как из открытого погреба. Внизу лежал неподвижный чёрный пролив, и по нему, если приглядеться, уже тянулись от камней бледные полосы первого льда. Далеко-далеко, на самом краю темноты, крошечной россыпью огней светился материк.

Мама шла на эти огни всю ночь, по льду, который не выдержал бы и лисы, и было ей тогда столько же, сколько мне. Какой лёд бывает в первую неделю ледостава, я знала с детства, от неё же. От проёма я отступила на шаг, хотя до края площадки было ещё далеко.

Я обошла колокол по кругу, держа телефон над головой, и у северного проёма, когда я поднялась на цыпочки, экран мигнул и показал одно деление. Пришло два сообщения, «Ты где» ещё в шестнадцать двадцать, а в двадцать два пятнадцать одно моё имя, «Марина», чего мама не писала мне ни разу в жизни. Я набрала её номер, и она взяла трубку после первого же гудка; наверное, весь вечер держала телефон в руке.

«Ты где?»

«В интернате. Тут плохо ловит, я на крыше».

«Слезь с крыши».

«Слезу».

«Как устроилась?»

«Нормально. Живу с девочкой, её Вера зовут. На ужин была уха».

«У вас в шхерах на днях встанет лёд». О льде мама всегда говорит голосом областного прогноза на завтра. «Не ходи на него, пока не окрепнет. Там течения, лёд обманывает».

«Знаю. Пешнёй перед каждым шагом».

Мама замолчала, и я услышала, как у неё на кухне тикают часы с кукушкой, которая давно не кукует.

«Марина».

«Что?»

«Ты правда в Сортавале?»

Я подняла глаза на колокол, на его позеленевший край, и, пока отвечала, смотрела прямо на него, потому что ждала удара и почти его хотела.

«Правда».

Колокол промолчал. В трубке тоже было тихо, и я уже решила, что пропала связь.

«Хорошо. Я тебе верю».

Я вдавила телефон в ухо, и заныл хрящ.

«Спокойной ночи. Пиши, когда поймаешь сеть».

«Мам...»

«Что?»

«Ничего. Спокойной ночи».

«Люблю тебя».

«Я тоже», выдохнула я, но деление уже погасло.

Я ещё стояла у северного проёма с телефоном в поднятой руке, хотя сети больше не было, а когда пальцы перестали чувствовать корпус, прислонилась лбом к колоколу. Он отозвался низким гулом, который прошёл у меня через лоб в самые зубы, и я плакала, пока зубы не застучали, а металл под лбом всё не нагревался.

Обратно я спускалась в полной темноте, нащупывая каждую ступеньку, но две всё равно застонали, и я долго стояла, держась за стену, и слушала, не проснулся ли от этого весь Остров.

В комнате было темно. Я разделась, не зажигая света, и уже залезала под одеяло, когда с Вериной кровати донёсся шёпот.

«С колокольни?»

Я застыла с одеялом в руках.

«Не скажу».

Вера тихонько засмеялась в подушку.

«Правильно». Скрипнула кровать, она повернулась ко мне. «Там двенадцатая ступенька скрипит и ещё тридцатая. Их перешагивай».

«Откуда ты знаешь, что я была...»

«Я звонарь». Голос у неё уже уплывал в сон. «Я обычно слышу, когда на колокольне кто-нибудь есть».

Заснула я нескоро, потому что всё пыталась вспомнить, громко ли сказала маме «правда».

Глава 4. Голос

Вторник, 24 ноября, 8:00
Голос ведёт эфир, хранит архив и записывает каждое заседание Зала.
Устав Острова, статья 9. О Голосе

Вера разбудила меня без десяти восемь, сдёрнув одеяло с ног, и, пока я соображала, где нахожусь, уже натягивала второй свитер поверх первого и объясняла, что построение во дворе и опаздывать на него нельзя, а зубы можно почистить и после, если очень быстро. За окном ещё стояла ночь, и колокольню я угадала только по звёздам, которых она не пускала в стекло.

Во дворе горели фонари, и под ними, каждый в собственном облаке пара, стояли рядами человек семьдесят. Было минус семь. Весь двор переминался с ноги на ногу, и иней на брусчатке хрустел не переставая. Вера втиснула меня в конец ближнего ряда и убежала к своим, и моим соседом стал мальчик в куртке на два размера больше нужного, с тонкой серой книжкой под мышкой, распухшей от разноцветных закладок.

«Ты Ершова», сообщил он вместо приветствия. «Я Тёма. Я тоже новенький. У меня тридцатый день, осталось десять».

«До каникул?»

«До присяги». Он посмотрел на меня с сочувствием и тут же сосчитал за меня. «У тебя тридцать девять».

Над двором, на столбе у входа в главный дом, зашипел громкоговоритель, и все разом замолчали.

«Доброе утро, Остров».

Из динамика голос Матвея звучал иначе, чем вчера на скале, ниже и медленнее, и казалось, что у каждого слова там, внутри, есть своя пустая комната, где ему просторно.

«Вторник, двадцать четвёртое ноября. Минус семь, ветер северо-западный, слабый. Ледовая обстановка. Пролив схватывается от берегов. У причала забереги до метра, лёд тонкий, на него не выходить. На луде лёд пока только между камнями. За изгибом луды течение держит промоину. Она открыта и будет открыта ещё долго, к ней не подходить ни сейчас, ни после ледостава. Распорядок обычный. Новостей нет».

Он помолчал секунду.

«Для новенькой. Построение каждый день в восемь, кроме тех дней, когда в восемь шторм. Тогда в девять».

По рядам прошёл смешок, несколько голов повернулось в мою сторону, и я уставилась на громкоговоритель и разглядывала его решётку, пока головы не повернулись обратно.

Инга стояла перед строем с папкой и читала фамилии, а из рядов ей отвечали «здесь». Я заметила, что никто не откликается за соседа, хотя половина двора, судя по лицам, не выспалась и вполне могла бы кого-нибудь прикрыть.

На букве «Л» из-за угла главного дома вылетел мальчишка лет четырнадцати, без шапки, в расстёгнутой куртке, и на бегу втиснулся в крайний ряд.

«Лебедев», прочитала Инга по папке. «Ты был на построении с восьми?»

Лебедев выпрямился, прижал ладонь к груди и поклонился ей до земли, чуть не потеряв несуществующую шляпу.

«Чуть свет... уж на ногах! И я у ваших ног!»

Строй грохнул, и у крыльца кто-то из учителей закашлялся в воротник, чтобы не засмеяться в голос.

«Своими словами. Ты был здесь в восемь?»

«Я был здесь в во...»

Голос у него оборвался, как вчера у лодочника на ступени. Лебедев сморщился и закашлялся, изо рта у него повалил белый пар, густой, как из чайника, и он замахал рукой, сдаваясь.

«Не был. Проспал».

«Кто проспит, отвечает своими словами», напомнил из первого ряда Глеб, и я узнала его по красной шапке.

«Так я и ответил!» Лебедев развёл руками, и двор снова захохотал.

Я смеялась вместе со всеми, а под рёбрами, там, где лежал телефон, у меня было холодно.

«Короче, он поперхнулся», шепнула я Тёме.

«Короче чего?» Тёма посмотрел на меня с живым интересом. «Он захлебнулся. Цитату голос пропускает, это Грибоедов. „Я был здесь в восемь“ уже от себя, вот он и не договорил».

«Ты что, весь Устав выучил?»

«Я люблю точность». Он прижал книжку к животу, как грелку. «На материке говорят „я почти пришёл“, а сами ещё дома».

«Поэтому ты сюда и приехал?»

«Поэтому». Тёма сдвинул на затылок шапку, съехавшую на глаза. «В старой школе я один раз поправил историчку. У неё была неправильная дата Куликовской битвы. Она ответила, что я не прав, я принёс учебник, и тогда она объявила, что учебник тоже не прав. До конца года меня звали Поправкой». Он пожал плечами, и закладки в Уставе зашуршали.

«Сам-то никогда не врёшь?»

«Пробовал». Тёма вздохнул. «У меня краснеют уши. Сначала левое».

Из Устава у него выглядывал тетрадный листок, расчерченный на сорок клеток, и в тридцати из них стояли аккуратные косые крестики.

Уроки шли на втором этаже, в жарко натопленных классах, и за окнами вместо улицы лежал пролив. Всю математику я не отводила глаз от серой кромки льда, которая ползла по нему от берегов, и думала о маме, которая сейчас, наверное, сверлила на Онего свою первую в этом сезоне лунку и не знала, что в двухстах с лишним километрах от неё другой лёд схватывается вокруг её дочери. На полях тетради у меня начала складываться следующая серия маминой Сортавалы, почти целиком из правды, с Верой и её морошкой из Кеми, и только физика с рыжими усами я выдумала от начала до конца, чтобы мама засмеялась, и даже подрисовала ему эти усы. Когда урок кончился, я вырвала лист и сунула в карман, чтобы на колокольне не сбиться.

На химии учительница, маленькая сухая женщина с серебряной брошкой в виде рыбки, заглянула к Тёме в тетрадь. «Неплохо», уронила она, и у Тёмы покраснели оба уха разом. Учительница сама когда-то окончила Остров, и Тёма до конца урока то и дело трогал эту страницу пальцем, проверяя, на месте ли она.

На большой перемене меня обступили младшие, и девчонка лет двенадцати, с косичками врастопырку, дёрнула меня за рукав.

«Соври что-нибудь».

«Я вам что, цирк?»

«Ну пожалуйста. У Тёмы не получается, у него уши».

Я посмотрела в окно, на серую кромку, ползущую от берега.

«Завтра растает».

Младшие восхищённо захихикали, зажимая рты, кто-то даже захлопал, и я раскланялась, прижав ладонь к груди, как утром Лебедев.

«Ещё!» потребовали сзади, и кто-то подёргал меня за другой рукав.

«Мама у меня полярница. Зимует на льдине и пишет мне раз в год, когда прилетает вертолёт».

На этот раз засмеялись не все. Девчонка с косичками прищурилась, высматривая у меня на лице, где кончается шутка, и не нашла. Про лёд это была почти правда. Инга, проходя мимо, раскрыла свою папку и что-то в ней записала.

После третьего урока Глеб нашёл меня у окна в коридоре. Здороваться он не стал. Он встал рядом, так, чтобы проходящие мимо нас не слышали, посмотрел на тот же лёд, что и я, и заговорил вполголоса.

«Ты нужна мне, пока не присягнула».

Ничего, кроме «пока ещё можешь врать», я в этом не услышала. Он видел вчера на причале, как легко я вру, и вечером вместе со всеми слушал про Лгунью, и ему, конечно, понадобилась своя карманная Лгунья на сорок дней. Его вчерашнее «я рад, что последней приехала ты» я, выходит, зря повторяла про себя полночи.

«Найди себе другую врунью. Эта напрокат не сдаётся».

«Ты не так поняла».

«Так объясни».

Глеб начал было отвечать, но замолчал, потому что по лестнице поднимался Арсений в своём чёрном свитере с горлом. Арсений скользнул по нам взглядом и прошёл мимо, а Глеб смотрел ему в спину, пока за ним не закрылась дверь класса, и только тогда снова повернулся ко мне.

«Не здесь».

Я оттолкнулась от подоконника и пошла к лестнице, нарочно не быстрее обычного, чтобы он не решил, что я убегаю.

«Договорим вечером», донеслось мне в спину.

Вруньей мама меня не называла ни разу. Когда в восемь лет я разбила её любимую чашку, синюю, в белый горошек, и свалила всё на сквозняк, мама села на табуретку напротив и молчала, пока на кухне не стемнело. Холодильник за это время дважды загудел и смолк, а мама всё сидела, сложив руки на коленях, и я призналась только для того, чтобы она зажгла свет.

Обед был в два. Я взяла поднос и села одна, в самом углу, спиной к залу, но Матвей нашёл меня и там. Он сел рядом и, размотав шарф, положил его на скамью между нами, как кошку.

«Глеб о тебе спрашивал».

«Что спрашивал?»

«Откуда ты и надолго ли к нам». Матвей посолил суп, не пробуя. «Я сказал, из Петрозаводска. Это ведь правда?»

Про Петрозаводск я проговорилась вчера по дороге к радиоузлу, не подумав, и вот к обеду это знал уже Глеб, а кто узнает следующим, я даже гадать не бралась.

«Правда. Что ещё ты ему сказал?»

«Что не знаю, надолго ли». Он поднял на меня глаза, карие и спокойные. «Других вопросов у него не было. Глеб не любопытный. Если он спрашивает, значит, ему нужно».

«Ты знаешь, что ему нужно?»

«Это ты у него спроси».

Я смотрела, как у Матвея на шее, на кожаном шнурке рядом с наушниками, покачивается маленький жёлтый ключ, и думала о полке с табличкой «2001».

«Пусти меня в архив. На десять минут, пока все обедают».

«Декабрь две тысячи первого». Мою руку на коробке он, значит, запомнил. «Без разрешения Зала не могу».

«Директор разрешил», выпалила я, глядя ему прямо в глаза.

Матвей даже ложку не опустил. «Директор в дела Зала не входит, это двадцать первая статья. Смелая попытка».

«Ты же сам говорил: если станет совсем плохо, приходи».

«Говорил». Он отломил мне половину своего хлеба. «Приходи в радиоузел, там тепло и можно молчать. Только архив тут ни при чём».

«Кто узнает?»

«Я буду знать». Голос у него был тот же, что утром из громкоговорителя, и Матвей снова взялся за суп. «Через тридцать девять дней я сам поставлю тебе эту коробку. Хочешь, первым делом после присяги».

Я сидела над остывающим супом и прикидывала, что ещё, кроме коробки, случится через эти тридцать девять дней, и выходило, что в первый же вечер после присяги я поднимусь на колокольню, мама спросит в трубку, правда ли я в Сортавале, и вместо «правда» у меня останется одно «не скажу», а по этим двум словам она сразу поймёт, где я. Суп совсем остыл, и я отодвинула тарелку.

После уроков я забралась в библиотеке в нишу у окна, спиной к камину, где на ковре ещё темнело пятно от вчерашнего Глебова какао, и открыла серый Устав, который директор велел прочитать до среды. Статьи в нём были короткие, в две-три строчки, и в четвёртой, «О молчании», одну строчку я прочитала три раза подряд. «Отказ отвечать произносится словами „не скажу“ и виной не считается».

Вчера ночью я, не задумываясь, ответила этими словами Вере, а за полчаса до того сказала маме в трубку «правда», и мама, которая прожила по этой статье всю мою жизнь, мне поверила. Я нащупала в кармане листок с рыжеусым физиком и, не разворачивая, сложила его ещё раз, так же аккуратно, как мама сложила тогда вырезку.

Пятую статью, совсем короткую, я перечитала дважды. «Голос, записанный на Острове, есть показание того, чей это голос». Лента, получалось, не умела отвечать «не скажу», и мамин голос в коробке с декабрём двадцать пять лет числился здесь показанием и стоял на полке в радиоузле, в двухстах шагах от моей ниши.

Шестую статью, про какого-то Вольного, защитника, которого не связывает клятва Острова, я бросила на середине, потому что в дверях появился Глеб. Он сразу увидел меня и пошёл ко мне между креслами, а я сунула Устав под мышку и вышла через дальнюю дверь у галереи. Он окликнул меня по имени, один раз, и я не обернулась.

До ужина оставалось двадцать минут, и все двадцать я стояла на лестничной площадке у окна, глядя, как у берега схватывается лёд, и злилась на Глеба, хотя из пяти дней, что у нас были, кончался уже второй. Под Антенной скалой зажглось окно радиоузла, жёлтое, с косой тенью рамы на снегу, и, пока оно горело, я решила, что коробку с декабрём послушаю до присяги, с Матвеевым ключом или без.

Глава 5. Тасина зима

Вторник, 24 ноября, 19:00

В ледостав, если Острову грозит немедленный вред и вину подтверждает голос обвиняемого, Зал решает ночью, без Вольного и без слушания. Карету подают до рассвета.

Устав Острова, статья 15. Зимняя

Весь ужин я сидела к Глебу спиной, на дальнем конце дальнего стола, и так старательно не оборачивалась, что к концу у меня заныла шея. Один раз он замедлил шаг у нашего стола, и Вера толкнула меня коленом, потому что я чуть не легла лицом в перловку. Когда со столов собрали посуду и я поднялась, чтобы под шумок исчезнуть и до отбоя придумать, как попасть в архив, Вера поймала меня за рукав и молча усадила обратно.

«Старостин час», шепнула она мне в ухо. «С него не уходят».

«Даже если очень надо?»

«Только если пожар».

Я покосилась на окна, за которыми стояла чёрная, без единого огонька ночь, подумала, что пожар сейчас пришёлся бы очень кстати, и осталась сидеть. Тёма по другую руку от меня раскрыл на коленях свой Устав и водил пальцем по строчкам, шевеля губами, и закладки у него торчали во все стороны, как перья у взъерошенной птицы.

Лампы под сводами горели через одну, свет на Острове берегли, и в этом свете столовая казалась длиннее, чем днём. На запотевшем окне рядом с нашим столом кто-то из младших нарисовал рожицу, и от её глаз уже ползли вниз капли.

Глеб вышел к раздаче, туда, где кончались столы, и встал прямо там, без трибуны, с листком в руке. Светлые волосы стояли у него на макушке дыбом, он их, видно, весь день ерошил пятернёй, и, пока он читал про дрова и про баню, я разглядывала на клеёнке пятно от компота, похожее на Ладогу с картинки в учебнике, и всё ещё обводила взглядом её берега, когда он сложил листок пополам.

«Второго декабря будет год, как нет Таси».

Кто-то у раздачи уронил поварёшку, и она осталась лежать на полу.

«В шесть утра Вера ударит в колокол. К береговой ступени выходите, если хотите, это не обязательно, и тем, кто проспит, никто ничего не припомнит». Глеб помолчал, глядя поверх голов. «В воскресенье на Конференции я внесу пятнадцатую статью. На отмену».

Вера рядом со мной пригнулась к самому моему уху. «Его на этом и выбрали. На Конференции, всем Островом. Арсений проиграл ему восемь голосов».

Тёма придвинул ко мне раскрытый Устав и ткнул в середину страницы, и я прочитала пятнадцатую статью целиком, все две строчки, до слов «Карету подают до рассвета».

«Опять». Арсений сидел у окна, откинувшись на скамье, и в чёрном стекле за его спиной отражалась вся столовая вместе с ним самим. «Ты её вносишь с самой Тасиной зимы».

«Пока не отменим».

«Тогда объясни младшим, кто их защитит, когда встанет лёд». Арсений не повысил голоса, но слышно его было и у раздачи. «Три недели к нам не пробьётся ни катер, ни вертолёт. Если в эти недели кто-нибудь скажет слово против острова, Зал без пятнадцатой статьи будет искать ему Вольного и ждать воскресенья, а он всё это время будет лазить на колокольню и звонить на материк, и к тому времени, как лёд окрепнет, по нему приедут нас закрывать».

Я прижала локоть к боку, к подкладке, где лежал телефон.

«Прошлой зимой Тасю отправили через пролив ночью. Зал не хотел её смерти, он просто не дождался утра».

«Тасю судили по её собственному голосу».

«Дело вела я». Инга сидела за соседним столом, положив ладонь на свою папку, и смотрела прямо перед собой. «Голос был её».

«Наутро запись слышал весь Остров, и ты её слышал». Арсений повернулся к Глебу всем телом, и скамья под ним скрипнула. «Карету ей подали по порядку, с колоколом, её огонь шёл по вехам, и все, кто стоял у ворот, видели, как он дошёл до Кареты, и я там был. Утром Пётр Ильич понёс ей туда термос с чаем и нашёл сторожку пустой. Ушла она сама. Как Лгунья».

Когда мне было шесть, мама вела меня по онежскому льду к своей лунке и перед каждым шагом стучала в лёд пешнёй, и, если лёд гудел, она шла дальше, а я считала стуки, и до лунки их вышло сорок три.

Под столом я нащупала Верину руку и сжала её, и Вера тихонько ойкнула, но руку не отняла.

«Маме её кто сказал?»

Спросила я это громко, через всю столовую, своим материковым голосом, и на меня обернулись даже повара у раздачи. Тёма уставился на меня поверх Устава.

Глеб ответил, только когда стих шёпот у раздачи.

«Директор. Утром, по телефону». Он отыскал меня в дальнем конце столовой и не отворачивался, пока говорил. «Летом я ездил к её родителям в Сортавалу».

«И к следователю», вставил Арсений.

«Это дело ждёт Вольного». Инга постучала ногтем по своей папке. «Обсуждать его здесь нельзя».

«Я знаю», ответил Глеб.

При слове «Сортавала» я опустила глаза в клеёнку, на компотную Ладогу, и сидела так, пока за младшим столом у меня за спиной не зашептала соседке девчонка с косичками врастопырку, та самая, которой я днём соврала, что лёд завтра растает.

«Говорят, Тася теперь тоже по льду ходит. В первую ночь».

Глеб услышал. Он повернулся к младшим, и девчонка съёжилась на скамье, хотя он не сказал ей ни слова и даже не нахмурился.

«Вот так оно и передаётся. Двадцать пять лет вы рассказываете новеньким, что лёд оправдывает».

«За себя, староста», напомнила Инга.

Глеб замолчал, и я видела, как у него в кулаке сминается сложенный листок с дровами и баней.

«Я рассказывал». Он смотрел на младших. «Два раза, на вечере новичков, когда был младше. Тася тогда сидела на ковре и подпевала. Её убила легенда, и я её тоже рассказывал».

За стеной, в печи, обвалились угли, и звук этот прошёл через всю столовую. Арсений отвернулся к своему отражению в чёрном стекле и долго молчал.

«Я её услышал на своём первом вечере, у того же камина», произнёс он наконец совсем другим голосом.

Вчера в библиотеке младшие допевали «говорят, лёд её оправдал» вразнобой, перебивая друг друга, а я сидела над кружкой с какао и думала только о маме. Про Тасю, наверное, писали и у нас в Петрозаводске, и я попыталась вспомнить, не стояла ли мама прошлой зимой у окна с газетой дольше обычного.

«Час окончен». Глеб разжал кулак, и смятый листок упал на пол.

Никто не встал. Матвей, всё это время стоявший у подоконника рядом с переносным катушечным магнитофоном, подошёл к Глебу и тронул его за локоть.

«Можно я поставлю одну? Она там про ветра».

«Ставь».

Матвей щёлкнул тумблером, катушки повернулись, и из динамика над раздачей сначала пошёл шорох, как от сухого снега по стеклу, а сквозь шорох пробился девчоночий голос, так близко, что я оглянулась на дверь.

«Доброе утро, Остров. С вами Тася, и сегодня у нас ветра, потому что Матвей опять написал в сводке „северо-западный“ без имени, а я, как вы знаете, не выношу, когда у кого-нибудь нет имени. Так вот, имена у ладожских ветров есть, и дали их задолго до Матвея. Матвей, не морщись, я тебя через стекло вижу. Северный зовётся сиверко. Он приходит под утро и шарит по рамам, пока не найдёт щель, и обычно находит, поэтому заткните сегодня окна ватой, я вас предупредила, дальше сами».

В столовой кто-то хмыкнул и тут же осёкся. Вера рядом со мной зажала рот ладонью.

«Юго-западный зовётся шелоник. Он тёплый, и от него лёд у берега гниёт снизу, потихоньку, а сверху лежит белый и красивый, как торт в витрине. Бабушка мне говорила, что шелоник обманывает рыбаков. Я с ней спорила, потому что врать ветер не умеет, он дует, и всё, и бабушка на меня обиделась и неделю звала прокурором».

Тася засмеялась прямо в микрофон, и динамик под потолком захрипел от её смеха. Глеб слушал, стоя у раздачи спиной к столовой, и на этом смехе у него дёрнулись плечи.

«И отдельно Вере из нашей комнаты. Варежки мои верни, я знаю, что это ты, на них морошка».

Вера уткнулась мне в плечо, и через минуту свитер на нём промок до самой кожи.

«Это была Тася. Ветер сегодня, представьте себе, северо-западный, у луды течение. На лёд не ходите. Белым он врёт».

Вчера ночью почти то же самое сказала мне в трубку мама, и теперь, когда эти слова произнесла девочка, которой год как нет, я накрыла ладонью компотную Ладогу на клеёнке.

Лента кончилась и зашуршала вхолостую. Матвей всю передачу стоял над магнитофоном, держа ладонь на крышке, и теперь не шевелился. Выключил магнитофон Глеб, и они стояли рядом, плечом к плечу, не глядя друг на друга, пока катушки не перестали вертеться.

Девчонка с косичками слезла со скамьи, подобрала с пола смятый Глебов листок и, разгладив его о колено, положила на раздачу, и только тогда столовая задвигалась.

Я ушла первой, не дожидаясь Веры, и прямо так, в расстёгнутой куртке, выскочила во двор. Мороз сразу взялся за уши. С севера тянуло прямо в лицо, не стихая ни на секунду, и я подумала, что это, наверное, и есть сиверко и что под утро он примется шарить по нашим рамам. В ту ночь здесь тянуло, может быть, так же. Я представила, как они стояли у ворот и смотрели на маленький огонёк, который уходил по вехам всё дальше в темноту, пока не остановился у Кареты, и как все тогда выдохнули и пошли спать. Запись, по которой её туда отправили, стояла теперь, наверное, в радиоузле, на одной из полок через несколько стеллажей от маминого декабря.

За спиной хлопнула дверь, и по брусчатке заскрипели шаги, слишком широкие для Веры.

«Ершова».

Я не обернулась, и Глеб встал рядом, как днём у окна в коридоре, так, чтобы нас не слышали, хотя во дворе, кроме нас двоих, никого не было.

«Где кончился её след?» Я смотрела туда, где за стеной главного дома, в темноте, лежал пролив.

«В двух километрах к северо-западу от Кареты, у открытой воды. Там течение, лёд по нему встаёт только к январю». Он помолчал. «Лодочник утром дошёл по следу до самой кромки».

Северо-западный ветер был сегодня и в утренней сводке, и я переминалась на брусчатке вместе со всем двором и ничего в этом слове не слышала.

«Я обещал договорить».

«Не сегодня».

Спорить он не стал. Краем глаза я видела, как пар у него изо рта относит ветром в сторону колокольни.

«Тогда завтра. После работ, на берегу». Он подождал. «Ты правильно спросила про её маму. При мне про неё здесь не спрашивал никто».

«Ты её любил?»

Глеб долго смотрел на пролив, которого отсюда не было видно.

«Не скажу».

Таким тоном мама закрывала у нас дома любой разговор, и переспрашивать её было бесполезно. Я сунула руки в карманы, и пальцы наткнулись на листок с рыжеусым физиком, сложенный ещё раз в библиотеке. Глеб побыл рядом ещё немного и ушёл в дом, а я осталась во дворе и сжимала в кармане этот листок, пока меня не затрясло.

В комнате горела только Верина лампа, прищепленная к спинке кровати. Вера сидела на постели, закутавшись в одеяло до самых глаз, и банка с морошкой стояла на подоконнике нетронутая, с ложкой, воткнутой ещё со вчерашнего вечера.

«Ты её знала?» Я стояла у двери, не снимая свитера.

«Её все знали». Вера выпростала из-под одеяла руку в серой вязаной варежке и поправила лампу, хотя та светила как надо. «Она жила здесь. Со мной, два года». Она фыркнула в одеяло. «Храпела. Я её спрашивала, храпит она или нет, а она мне „не скажу“, соврать-то не могла».

Я посмотрела на свою кровать. На облупленной спинке когда-то была наклейка, и от неё остался светлый квадратик. Я потрогала его пальцем. Краска вокруг облупилась, а квадратик под наклейкой уцелел гладким.

«Вчера я тебе не сказала, ты бы не уснула». Вера смотрела на этот квадратик. «Это её кровать».

«Почему мне?»

«Других свободных не было».

Под окном, у самой рамы, сквозило, и сиверко уже пробовал щели, как обещала Тася. Я стянула с шеи шарф, затолкала его между рамой и подоконником и только тогда легла на Тасину кровать, не раздеваясь, лицом к стене.

Глава 6. Шесть вех

Среда, 25 ноября, 10:00

Ледовый дежурный ставит вехи по луде, проверяет их до темноты и пишет в журнал всё, что сделал.

Устав Острова, статья 12. О ледовом дежурном

Пролив встал ночью, пока я спала на Тасиной кровати лицом к стене, и к утру от береговой ступени до Лодочного лежал белый молодой лёд. Мама назвала бы его салом, которое схватилось за ночь в корку, и не пустила бы на него даже собаку. Открытой осталась только полоса за изгибом луды, где, по сводке, течение держало промоину, и над ней в морозном воздухе стоял пар, как над лункой, которую мама только что пробурила. Было минус девять. Где-то посреди пролива лёд время от времени постреливал, и звук уходил вниз, под воду.

Вера ушла раньше меня. В ногах у меня на одеяле лежали серые вязаные варежки с морошкой, вышитой на тыльной стороне, а между ними тетрадный листок, где Вериным круглым почерком было написано «Верни вечером». Надела я их только в коридоре. Шерсть внутри свалялась по Тасиной руке, пальцам пришлось устраиваться в её вмятинах, и большой палец у меня всё время съезжал на штопку, где светлая нитка была стянута узелком наружу.

По средам у новичков вместо уроков были работы, и меня записали к Петру Ильичу снимать лодочные мостки, с которых он с весны до ледостава возил в Карету дрова и консервы. Береговую ступень, где после работ у меня был назначен разговор с Глебом, я всю дорогу вниз, к дизельной, обходила взглядом.

Мостки уходили в воду от камней за дизельной метров на двадцать, на козлах из почерневших брёвен, и вокруг каждой ноги за ночь нарос белый ледяной воротник. Пётр Ильич поддевал доски ломом, гвозди вылезали из мёрзлого дерева с долгим визгом, каждый на свою ноту, а я принимала доски по одной и носила на берег, к стене сарая. Над водой лодочник врал не переставая, и я подкидывала ему вопрос за вопросом, потому что стоило нам замолчать, как перед глазами у меня вставал светлый квадратик на спинке Тасиной кровати.

«Эти мостки, девонька, я для нерпы ставил». Пётр Ильич налёг на лом, и доска под ним крякнула. «Каждое лето приплывала с Валаама и до обеда загорала на третьей доске от края. Я ей радио включал. „Маяк“ она слушала, особенно прогноз погоды».

«Нерпе-то прогноз зачем?»

«Отпуск планировать».

С мостков Карета была видна целиком, от крыльца до трубы, и её единственное окно смотрело через белый пролив прямо на нас. Я стояла с доской в руках, не сводя глаз с трубы, из которой ничего не шло.

«Пётр Ильич, это вы в то утро пошли по её следу? По Тасиному».

Лом у него в руках остановился. Пётр Ильич забрал у меня доску и понёс её на берег, переступая по козлам медленно, по одной перекладине, и ответил, только когда положил её в штабель у стены и выпрямился на граните, тем береговым голосом, который я слышала у него в понедельник.

«Я. Термос назад принёс, полный».

Он смотрел через пролив на Карету, и я спросила ему в спину про замок, который видела на её двери с катера.

«Висит пока. Встанет лёд, схожу по вехам и сниму. В ледостав её не запирают».

Он вернулся за ломом, а я осталась на мостках с пустыми руками, в Тасиных варежках, и не знала, куда их деть. До последней доски мы работали молча.

Сарай стоял впритык к дизельной, и прямо за стеной у нас гудел дизель, который Пётр Ильич с утра запустил погонять перед зимой. Внутри пахло соляркой и еловой смолой. Вдоль стены выстроились шесть тёсаных жердей в полтора моих роста, заострённых снизу, чтобы вмораживать их в лёд, и у их подножия лежала куча еловых лап, которые Пётр Ильич нарубил на северном склоне ещё до завтрака.

Он показал мне, как ставить лапу, стволиком к макушке жерди и хвоей вверх, и затягивать пластиковым хомутом до щелчка. Первый хомут лопнул у меня в пальцах на третьем щелчке, второй на втором. Пётр Ильич взял у меня пакет и долго разглядывал напечатанные на нём иероглифы, отодвигая его от глаз на вытянутую руку.

«Китайские».

Он оставил мне моток просмолённой бечёвки и ушёл за стену, к дизелю, который начал покашливать.

Варежки я сразу сняла, чтобы не измазать смолой вышитую морошку, и положила их на подоконник ягодами вверх. Через пять минут пальцы у меня одеревенели, и узел на первой жерди они завязали без меня, по старой памяти, тот самый, которым мама привязывала к санкам мои варежки.

Мне было пять, мама брала меня с собой на гидропост, и варежки я теряла на льду каждый день, пока она не привязала их к санкам бечёвкой, двумя оборотами, с петлёй на хвосте. Узел держал на любом ветру, а за петлю его можно было распустить одной рукой, не стягивая зубами вторую варежку, и я распускала его по сто раз на дню, чтобы посмотреть, как мама, присев у лунки на корточки, завяжет его снова. «На льду всё вяжут так, чтобы развязать одной рукой», объясняла она, и от её рукавицы, которой она вытирала мне нос, пахло бензином от бура.

Пётр Ильич вернулся, вытирая руки ветошью, подёргал лапу на первой жерди, и лапа не шелохнулась. Петлю на хвосте он поддел пальцем.

«Бантик».

Я потянула за петлю, и лапа вместе с распавшимся узлом съехала по жерди мне на голову, осыпав меня хвоей. Пётр Ильич захохотал на весь сарай, и за стеной ему в ответ чихнул дизель.

«Так теперь не вяжут». Он утёр глаза кулаком. «Кто ж тебя так учил?»

«Дед. Он у меня в Мурманске на сейнере ходил».

«Врёшь», ласково определил он и снял у меня с волос еловую иголку. «Деду всё равно поклон».

Узел я завязала заново, мамин, с петлёй, и затянула потуже, назло китайским хомутам. На остальные пять лап пальцев у меня уже не хватило, и их я привязала простым двойным узлом, а Пётр Ильич проверил каждую и ничего не сказал.

Савва пришёл к полудню, в ушанке, завязанной под подбородком, как у маленького, и с толстой тетрадью в клеёнчатой обложке, из корешка которой торчал огрызок карандаша. Жерди он первым делом пересчитал, трогая каждую рукавицей.

«Шесть». Он раскрыл тетрадь на колене и вывел крупными буквами, налегая на карандаш, «25 ноября. Запасных вех в сарае шесть, лапы навязаны».

«Номера где?»

«Номер прибивают на льду». Савва показал мне жестянку с квадратиками из консервных банок, на которых гвоздём были выбиты цифры. «Линейных четырнадцать, они под навесом у дизельной, и лапы на них я вчера навязал. В сарае веха запасная, номер ей не положен. Сломается в линии, допустим, девятая, я ставлю на её место запасную и прибиваю ей девятку».

Глеб пришёл следом и остался у двери. Всё время, пока мы говорили про номера, он смотрел на подоконник, на серые варежки с морошкой, и я чуть было не сгребла их в карман, но Глеб уже отвернулся.

«Пошли на ступень, пока светло», позвал он Савву. «Покажу тебе Барана».

Савва прихватил из угла пешню, и они вышли. Меня никто не звал, и я пошла следом, натягивая на ходу рукава свитера на пальцы. С береговой ступени луда была видна вся. Белый лёд прятал камни, их выдавали только горбы там, где камень подходил к самой корке, и цепочка этих горбов тянулась от ступени прямо к большому валуну, торчавшему изо льда круглой лысиной под снежной шапкой, а у валуна сворачивала к Лодочному.

«Это Баран». Глеб показал на валун. «До него ставь через тридцать шагов, по горбам. За Бараном поворот, там чаще и по самой дуге. Прямо от Барана не срезай, там течение».

«С шестой по восьмую?» Савва держал тетрадь на весу и писал, высунув кончик языка.

«Да».

«Луду лучше Глеба знает только Пётр Ильич», сообщил мне Савва, не отрываясь от журнала. «Глеб до меня две зимы дежурил».

Прошлой зимой вехи на луде ставил он, и Тасин огонёк дошёл до Кареты по его вехам. Глеб опустил руку и сунул её в карман куртки, а я уставилась на Барана.

«У ступени пять сантиметров». Савва стукнул пешнёй в лёд у самого гранита, и тот отозвался звоном. «Я в восемь мерил. Если ночью будет минус десять, к утру нарастёт до семи, и можно ставить».

«Белый за половину считают».

Фраза вышла у меня маминой, с маминой точкой на конце. Савва поднял голову от журнала, а Глеб отвернулся от луды ко мне.

«Откуда знаешь?»

«С Онего».

«Она права, Савва. Белый держит вдвое хуже чёрного, и пять белых сантиметров тебя не выдержат».

Савва жирно зачеркнул в журнале «можно ставить». «Утром пробью у ступени лунку и посмотрю, сколько под белым чёрного».

Ниже он что-то дописал и поднял на Глеба глаза.

«Про белый с чьих слов писать?»

Я открыла рот, чтобы сказать, что ни с чьих, но Глеб меня опередил.

«Пиши „с Онего“».

Савва старательно вывел «с Онего» и поставил точку. Я засмеялась в голос, и смех вылетел у меня изо рта облаком и повис над ступенью.

Без десяти два Пётр Ильич выглянул из сарая и объявил обед, и Савва побежал к дому, придерживая на бегу завязанную ушанку. Глеб остался на ступени. Я присела перевязать шнурок, который и не думал развязываться, и возилась с ним, пока на тропинке не стих Саввин топот.

Тогда я сошла со ступени на причал, на последнюю доску, ту самую, с которой в понедельник шагнула на Остров, и только там повернулась к Глебу лицом. Под досками, между сваями, белел лёд, и сквозь щели тянуло холодом прямо в рукава.

«Иди сюда. Тут хоть соврать сможешь, если понадобится».

«Я лучше здесь». Глеб переступил на граните с ноги на ногу, но со ступени не сошёл.

«Тогда говори. Ты обещал».

«Летом я ездил к Тасиным родителям, ты слышала. От них я пошёл к следователю и рассказал, как её судили». Он говорил ровно, по порядку, как объяснял Савве луду. «Согласия Зала у меня не было. По второй статье это слово против острова. В сентябре я сам объявил об этом в эфире, и в октябре Инга открыла на меня дело».

«Зачем было объявлять? Никто бы не узнал».

«Прятаться за „не скажу“ я не буду».

«Мне ты вчера ответил именно этим».

«Это было не про дело».

«И что тебе за это будет?»

«Решит Зал». Он посмотрел через пролив, на Карету. «Может подать карету. Только без Вольного Зал дел не слушает, и моё лежит у Инги в папке с октября».

«Шестая статья. Я её не дочитала».

«Вольный защищает. Он Острову ничего не обещал, поэтому Вольным бывает только новенький, до присяги».

«Тёма».

«Он отказал. Вольный откладывает присягу до конца дела, а у Тёмы осталось девять клеток».

Из всего, что он сказал, я первым делом услышала, что присягу откладывают, и тут же принялась считать, сколько раз, пока идёт дело, отвечу маме в трубку «правда». Я досчитала уже до февраля, когда вспомнила про коробку с маминым декабрём, которой пришлось бы тогда пылиться на полке в радиоузле ещё дольше.

«Выходит, я тебе нужна, потому что больше некому».

«Сначала да». Глеб потёр ухо ладонью. «Вчера ты спросила про её маму».

«Я в коридоре решила, что тебе нужна своя врунья. На сорок дней».

Глеб шагнул ко мне, к самому краю гранита, и остановился там.

«Утверждать ложное Вольному запрещено. До этой строчки ты, видно, не дошла».

Под досками у сваи звонко щёлкнул лёд, и я обрадовалась, что есть куда посмотреть.

«В воскресенье Конференция. Если согласишься, я попрошу за тебя при всех».

«Это сколько?»

«Семьдесят три человека, если никто не заболеет».

«Арсений вчера говорил, что в ледостав Зал может и ночью, без Вольного».

«Если грозит немедленный вред. Со следователем я говорил в июле, и за четыре месяца к нам никто не приехал».

«Что ты скажешь в Зале?»

«Скажу Вольной». Он подождал, но я молчала. «Тасю судили ночью, без слушания, и за что её отправили в Карету, Остров узнал только утром. Моё дело пусть слушают днём, в открытом Зале».

Я представила себе воскресенье, когда на меня разом обернётся весь Остров, и Зал, где мой голос уйдёт в микрофон, а оттуда на ленту и на полку в радиоузле, на двадцать пять полок дальше маминого. Руки я давно спрятала в рукава, но пальцы там всё равно не слушались.

«Я подумаю».

Глеб перевёл взгляд на мои рукава.

«Варежки забери. Ты их в сарае на подоконнике оставила».

Он ушёл по тропинке к дому, а я ждала на последней доске, глядя на пустую ступень, пока его шаги не стихли за дизельной, и только тогда шагнула на неё.

В сарае было уже сумеречно. За стеной Пётр Ильич гремел чем-то у дизеля и меня не услышал. Варежки на подоконнике промёрзли, но я надела их как были, и большой палец сам нашёл штопку. Шесть вех стояли вдоль стены, как их пересчитал Савва, лапами под самые стропила, и на крайней, у окна, из тёмной хвои свешивалась петля бечёвки, за которую мама учила меня дёргать. Я зажала её в кулаке, в Тасиной варежке, и держала, пока Пётр Ильич за стеной не перестал греметь.

Глава 7. Зал

Среда, 25 ноября, 18:00

Кто предлагает Залу утверждение как основание обвинения, называет, откуда знает. Не назвавший источника не свидетельствует против обвиняемого.

Устав Острова, статья 7. Об источнике

Против Софьи стояла моя фамилия. Словесник Аркадий Львович, длинный, в вязаной жилетке поверх рубашки, приколол листок кнопкой к двери актового зала у меня на глазах и, отступив на шаг, полюбовался своей работой. Старшим, сгрудившимся вокруг, он объявил, что репетиции по четвергам после уроков, а спорить о ролях можно только с Грибоедовым. Он не заглянул внутрь и ушёл, потому что в дела Зала учителя не входят, и понимал он это, похоже, буквально, до порога. Под заголовком «Горе от ума. Зимний спектакль» столбиком шли роли, и в самом низу, под чертой, было приписано, что звук ведёт Матвей.

По средам Зал заседал в шесть, и ужин из-за этого сдвигали на семь. Тасины варежки лежали у меня в кармане. Вера с обеда пропадала то на кухне, то на колокольне, и я надеялась отдать их ей до заседания, а заодно своими глазами посмотреть, во что меня зовут.

Софья была мне знакома по девятому классу, с её слов вся Москва и решила, что Чацкий сошёл с ума, и роль мне дали, выходит, по специальности. На сцене голос у присягнувших пропускает неправду, потому что за них там говорит Грибоедов. Младшие поглядывали на мою строчку, как на путёвку в санаторий, которую по ошибке выдали здоровой. Арсения они поздравляли с Чацким, а он стоял у самой двери, на голову выше всех, и смотрел поверх их макушек на меня.

«Ершова уже сыграла», объявил он так, чтобы слышали все. «Сегодня, на причале».

Кто-то из старших хмыкнул. На досках причала присяги нет, это здесь знали даже младшие, и я сразу представила, как это выглядело из окна, когда я стояла на последней доске, а Глеб на граните, в одном шаге от меня. Арсений угадал. На последнюю доску я сошла нарочно, чтобы проверить, пойдёт ли Глеб туда, где можно врать.

«Короче, хорошо было видно?»

«Из библиотеки причал виден целиком».

Савва, протиснувшись к листку, нашёл свою строчку и спросил у Арсения, много ли у Молчалина слов.

«Немного». Арсений сунул руки в карманы. «Он в основном соглашается».

«Я умею соглашаться», вздохнул Савва и перечитал свою строчку ещё раз, а Арсений снова повернулся ко мне.

«Знаешь, почему у нас Карета? В последней сцене Чацкий кричит „Карету мне, карету!“ и уезжает из Москвы. Отсюда и сторожка на Лодочном».

В понедельник лодочник ответил мне «Потому что подают», и до сегодняшнего вечера я не знала, что шутка у него грибоедовская. Я подумала о маме, которая в первую же ночь ушла из этой Кареты к материку по льду, и о том, что карету ей, наверное, тоже подавали по порядку, с колоколом. Через двадцать четыре года тем же путём ушла Тася. Что-то Арсений, видимо, увидел у меня в лице, потому что отвернулся первым.

С крыльца потянуло морозом. Глеб с Матвеем внесли из радиоузла тяжёлый катушечный магнитофон, держа его вдвоём за ручки, и толпа у двери расступилась. У листка Глеб задержался ровно настолько, чтобы прочитать мою строчку.

«Софья у Грибоедова умнее всех», сообщил он, не глядя ни на меня, ни на Арсения, и они с Матвеем понесли магнитофон в зал.

«Короче, это был комплимент?» крикнула я вслед.

«Не скажу», ответил Глеб уже из дверей, и магнитофон между ними качнулся.

Арсений проводил его взглядом, а я вошла в зал последней и всё прикидывала, что такого умного Глеб вычитал у Грибоедова в Софье и при чём тут я, раз соврать на камне он не мог.

Актовый зал был длинный, с инеем на стёклах изнутри и скамьями в два ряда, и в дальнем его конце поднималась сцена, задёрнутая выцветшим бархатом. Четверо Зала сидели перед ней за столом под зелёным сукном, спиной к занавесу. Вера села с самого края, отдавать ей варежки было поздно, и я устроилась на задней скамье, положив их на колени. Красная шапка Глеба лежала на сукне возле настольного микрофона на чугунной подставке, а второй, на высокой стойке, стоял перед столом для тех, кого вызывают. Матвей за отдельным столиком сбоку заправил ленту, и тут Инга постучала карандашом по сукну. Скамьи грохнули, когда все разом встали, и я вскочила последней, едва не уронив варежки, а когда мы снова сели, Матвей поднял голову.

«Тишина, пишу».

Это прозвучало его радиоголосом, вполголоса, но зал затих до самых задних скамеек, и, когда Инга подняла руку, Матвей щёлкнул тумблером, и катушки пошли.

«Заседание Зала открыто. Среда, двадцать пятое ноября, восемнадцать ноль-ноль. Зал в полном составе, ведётся запись».

В микрофон Инга читала медленнее, чем говорила в столовой, и каждое слово ставила отдельно, как Савва ставит цифры в журнал. Изо рта у неё в холодном зале шёл пар. Точно так же, должно быть, она открывала заседание и в прошлом декабре. Где-то здесь, может быть, у этого же стола, двадцать пять лет назад говорила и мама, и то, что она тогда сказала, лежало теперь в радиоузле, в коробке с выцветшей надписью «Зал. Декабрь».

«Дежурная по оранжерее Клюева заявляет, что во вторник около половины десятого вечера в южной стене оранжереи разбито стекло, третья рама от входа. За ночь померзла рассада, у лимона почернели листья. Клюева, ты присягала?»

К микрофону вышла девчонка с косичками врастопырку, та самая, что вчера разгладила о колено смятый Глебов листок, и Матвею пришлось опустить для неё стойку на два деления.

«Седьмого апреля».

«Значит, твоё слово Зал обязывает. Говори».

«Я пошла закрывать оранжерею, а от неё к дому бежал Лебедев. Без шапки, куртка нараспашку. Я ему крикнула, он не обернулся. Внутри было холодно, и третье стекло лежало на грядке».

«Время точное?»

«Половина десятого. Я на часы смотрела».

«На какие?»

«На свои». Клюева вытянула из рукава запястье с часиками на розовом ремешке. «Они на две минуты спешат».

«Значит, двадцать восемь минут десятого». Инга записала. «Продолжай».

«Лимон я с сентября поливала». Дальше слов у Клюевой не нашлось, и она только смотрела на Ингу снизу вверх. Инга дала ей помолчать и ничего не записала.

Оранжерея в понедельник была молочной от пара изнутри, и теперь я представила, как в неё всю ночь шёл мороз через дыру в третьей раме, как рассада на грядках чернела ряд за рядом и как утром Клюева пересчитывала на своём лимоне живые листья. Лебедева я видела во вторник на построении, без шапки и нараспашку, и ходил он так, наверное, всю зиму. Я и сама вчера выскочила во двор в том же виде. Клюева рассказывала так же, как я сочиняю маме письма, из верных мелочей, которым мама верит сразу.

«Лебедев». Инга подняла глаза от листа. «Будешь говорить?»

Лебедев сидел на первой скамье и наматывал на палец нитку, вытянутую из рукава, и ничем не напоминал того, вторничного, который кланялся Инге до земли.

«Не скажу».

По скамьям прошёл шорох, и Инга сделала на листе пометку.

«Отказ отвечать виной не считается. Четвёртая статья».

Говорить я ничего не собиралась. Голос вышел у меня сам, на весь зал.

«Лицо ты его видела?»

Клюева оглянулась на меня. Катушки у Матвея крутились.

«Ершова». Голос у Инги в микрофоне не изменился. «Ты не присягала, и твоё слово Зал не обязывает. Третья статья». Она повернулась к Клюевой. «Отвечать не нужно».

Клюева вернулась на скамью. Половина зала обернулась ко мне, и Арсений у окна тоже, с тем же любопытством, с каким в понедельник в библиотеке объявил, что я вру, а я сидела под их взглядами с Тасиными варежками на коленях и смотрела в ответ, в каждое лицо по очереди, пока оно не отворачивалось, и Арсений отвернулся последним. Глеб за столом впервые за вечер посмотрел на меня прямо и тут же перевёл глаза на стену.

Тёма в первом ряду не обернулся. Он листал свой Устав вперёд, быстро, по нескольку страниц сразу.

«Обвиняемый просит Вольного?»

Нитку Лебедев оставил наконец в покое.

«Прошу».

«Вольного назначает Конференция». Инга сложила лист пополам. «Дело откладывается до его назначения».

Она раскрыла папку и прочитала то, что было записано с изнанки обложки.

«Вольного в Зале ждут два дела. О стекле оранжереи, с сегодняшнего дня. О слове против острова, обвиняемый староста, с шестого октября».

Шестого октября я ещё сдавала в Петрозаводске документы на поступление, и мама думала, что в Сортавалу. Все разом посмотрели на Глеба, а следом, один за другим, на меня, мимо Тёминой макушки в первом ряду. За спиной у меня кто-то из младших шепнул соседке «это та, за морошкой». Новеньких на Острове было двое, и про Тёмин отказ знали, видно, уже и на кухне.

Вера смотрела в сукно. Глеб сидел в двух шагах от Ингиной папки и смотрел поверх всех голов в заднюю стену, поверх моей тоже. Я разгладила на колене Тасину варежку, и под пальцами у меня бугрилась вышитая морошка, ягода за ягодой.

«Заседание закрыто».

Матвей щёлкнул тумблером, и катушки, дёрнувшись, встали. Глеб надел шапку и взялся за ту ручку магнитофона, что была со стороны мотора, Матвей за другую, и они понесли его к выходу медленно, как спящего, а Вера подошла ко мне первой. Я протянула ей варежки. Руки у неё были ледяные, всё заседание она сидела, подсунув ладони под себя, и варежки она натянула сразу, прямо у скамьи, и сжала мне пальцы сквозь шерсть.

«Тасю в Зале ни о чём не спрашивали», шепнула она, глядя на свои руки. «Слушали только ленту».

Ответа она ждать не стала и пошла к двери, ни разу не оглянувшись, хотя ещё вчера в столовой плакала мне в плечо под Тасину передачу, и морошка на её варежках мелькнула в дверях и пропала.

Клюева тем временем пробралась к столу и встала перед Ингой, теребя косичку.

«Инга, я лица не видела. Я его в шапке ни разу не встречала, вот я и...»

Инга посмотрела на часы над сценой.

«Заседание закрыто. Скажешь в Зале, когда у Лебедева будет Вольный. Я отмечу, что ты хочешь уточнить». Она вынула из папки чистый лист и написала на нём две строчки.

Листок она положила в папку поверх дела о стекле, под которым с шестого октября лежало дело Глеба, и затянула тесёмки. Я уже шла к столу по проходу, сама не зная, что скажу, но Инга встретила меня на полдороге.

«Из новеньких вопросы в Зале задаёт только Вольный, Ершова».

«Учту».

Инга унесла папку под мышкой туда, где за дверью уже звали на ужин. Стойка микрофона осталась опущенной на два деления, под Клюеву. По дороге к двери я выдвинула её под свой рост, чтобы сетка микрофона приходилась мне под самый подбородок, и такой её оставила.

В коридоре у вешалок меня ждал Лебедев. Куртку он уже натянул, но застёгивать, конечно, не стал, и шапки на нём не было. Левая штанина у него ниже колена покоробилась и пошла светлыми разводами, как газета, которую намочили и высушили на батарее.

«Ершова». Он оглянулся на дверь зала, за которой ещё двигали скамьи. «Стекло разбил не я».

Он говорил это в доме, на камне, где соврать не мог, и договорил, ни разу не захлебнувшись.

«Тогда кто?»

«Не знаю».

«Почему в Зале молчал?»

«Там бы дальше спросили. Заговоришь про стекло, спросят и про вечер».

«И где ты был вечером?»

«Не скажу». Лебедев шмыгнул носом. «Говорят, ты у Глеба в Вольных будешь».

«Кто говорит?»

«Все гов...» Он закашлялся и, отдышавшись, поправился. «Половина».

Соврать ему «буду» мне ничего не стоило, на это ушло бы одно слово, и я его не сказала. Лебедев потоптался и махнул рукой.

«Если будешь, я после него подожду».

«В очередь, значит?»

Он побежал к столовой, без шапки, в куртке нараспашку, точно такой, каким его видела вчера Клюева.

«Мне не горит!» донеслось уже от поворота.

Глава 8. Сцена слуха

Четверг, 26 ноября, 15:00
Сказанное со сцены сказано персонажем. За это Остров и любит театр.
Устав Острова, статья 17. О сцене. Комментарий основателя

К трём часам стол Зала вместе с сукном задвинули под сцену, а микрофонную стойку унесли в угол. Аркадий Львович расставлял на сцене стулья вместо фамусовской мебели и рассаживал на них невидимых гостей, каждого по имени, от княгини Тугоуховской до господина N. Я, пока собирались остальные, продышала в инее на ближнем стекле глазок и смотрела в него на луду.

Вехи стояли по ней от береговой ступени до Барана через ровные тридцать шагов, за Бараном чаще, по самой дуге, как учил Глеб, и еловые лапы на них отсюда казались тёмными флажками. Ставил их Савва с утра. На химии мы полурока стояли у окон, считая вехи вслух, и химичка с брошкой-рыбкой смотрела вместе с нами и ни разу не велела сесть. Савва уходил от ступени один, с санками, на которых лежали вехи, перед каждым шагом пробовал лёд пешнёй, и, когда он прибивал к очередной вехе жестяной номер, стук долетал до нас через пролив с опозданием, уже после того, как у него опускалась рука. Глеб стоял на ступени, на самой границе, с мотком верёвки через плечо, и, сколько я смотрела, ничего Савве не крикнул.

Сейчас Савва возвращался вдоль линии от Лодочного и у каждой вехи задирал голову. До темноты их полагалось проверить, этого требовала двенадцатая статья. Отсюда он был с ноготь.

Тёму Аркадий Львович посадил суфлёром на перевёрнутый ящик у края сцены. Пьесу Тёма знал почти наизусть и всё равно вёл по строчкам карандашом, а Устав держал под пьесой, на коленях. Карандаш он как раз сунул в зубы, когда в зал вошёл Глеб.

Красную шапку Глеб сдёрнул ещё в дверях и пошёл прямо к сцене, к Тёме. Я отвернулась к своему глазку, но в полупустом зале слышно было каждое слово.

«Тёма». Глеб остановился у ящика, и сидящий на сцене Тёма пришёлся ему как раз вровень. «В воскресенье Конференция. Я прошу ещё раз».

Тёма вынул изо рта карандаш и раскрыл Устав там, где у него лежал тетрадный листок на сорок клеток. Крестики стояли во всех клетках, кроме нижнего ряда.

«Восемь», ответил Тёма. «Вчера было девять».

«Дело может затянуться до весны».

«Знаю». Тёма закрыл Устав. «Я сюда присягать ехал».

Глеб помолчал. «Хорошо. Спасибо, что ответил сразу».

Он ушёл в конец зала и сел на последнюю скамью, к стене. Тёма дождался, пока он сядет, и повернулся ко мне.

«Значит, остаёшься ты».

Уши у него были белые. «Я бы всё равно не смог», добавил он, и левое ухо у него начало розоветь с мочки.

«Левое», шепнула я.

Тёма прижал ухо ладонью и уткнулся в пьесу, а я снова нашла в инее свой глазок и пересчитала вехи от ступени до поворота, хотя сосчитала их ещё на химии. Савва на луде стоял уже у Барана.

Аркадий Львович хлопнул в ладоши. «Третье действие, явление первое, с выхода Софьи. Чацкий на сцену!»

Арсений взбежал на сцену с ролью, свёрнутой в трубку, и ни разу в неё не заглянул. Я ушла за противоположную кулису, откуда по ремарке появляется Софья, и на счёт три вышла.

«Вы здесь? я очень рад, / Я этого желал».

Говорить ему полагалось в зал, Аркадий Львович уже дважды показывал рукой, куда именно, но Арсений смотрел на меня.

«И очень невпопад», проговорила я про себя, как велит ремарка, но так, чтобы слышали задние скамьи, и младшие, которые пришли посмотреть, засмеялись.

«Конечно не меня искали?»

«Я не искала вас». Я его и правда не искала.

«Дознаться мне нельзя ли, / Хоть и некстати, нужды нет: / Кого вы любите?»

Эту строчку Арсений произнёс тише остальных, и я не разобрала, спрашивает Чацкий или он сам, а переспросить не могла, потому что на сцене за меня говорила Софья, и, вместо того чтобы отвечать, посмотрела на последнюю скамью. Глеб сидел там с шапкой на коленях и смотрел на сцену.

«Ах! боже мой! весь свет».

«Кто более вам мил?» Арсений посмотрел туда же, куда смотрела я.

«Есть многие, родные».

«Все более меня?»

«Иные».

«И я чего хочу, когда всё решено? / Мне в петлю лезть, а ей смешно».

Арсений при этом улыбался, и Аркадий Львович остановил нас, постучав ладонью по спинке стула.

«Арсений, он в петлю лезет, а ты улыбаешься».

«Так ей же смешно, Аркадий Львович. Я подыгрываю».

Явление мы доиграли, и, пока Аркадий Львович переставлял стулья для следующей сцены, я подошла к Арсению вплотную.

«Это Чацкий спрашивал?»

«Со сцены, новенькая, всё говорит Чацкий». Он спрыгнул в зал, на пол, где за каждое слово отвечал уже сам.

«Ты уже внизу. Так кто спрашивал?»

«Ты сама-то кому отвечала?» весело спросил снизу Арсений и, не дожидаясь ответа, ушёл к младшим на скамьи.

«Молчалин у нас на льду». Аркадий Львович посмотрел на часы над сценой. «Тогда делаем слух. Четырнадцатое явление, Софья и господин N. Лебедев!»

Лебедев выскочил из-за кулисы в той же расстёгнутой куртке, в которой вчера ждал меня у вешалок. Господин N. достался ему, похоже, по любви, потому что Грибоедова Лебедев цитировал даже на построении.

«Матвей, бал!»

Из колонки у рампы пошёл старый вальс, весь в треске, и Лебедев подошёл ко мне через всю сцену, между стульями, изображавшими танцующих.

«Вы в размышленьи».

«Об Чацком».

«Как его нашли, по возвращеньи?»

«Он не в своём уме».

«Ужли с ума сошёл?» Лебедев спросил это с восторгом.

Перед следующей репликой Софья молчит, и я помолчала по ремарке. «Не то чтобы совсем...»

«Однако есть приметы?»

Смотреть на него Софья должна пристально, и я уставилась на Лебедева, пока он не моргнул. «Мне кажется».

«Враньё», донеслось с ящика.

Аркадий Львович обернулся к суфлёру. «Кто сказал „враньё“?»

«Я». Тёма поднял руку с карандашом. «Она знает, что Чацкий в своём уме. На Острове она захлебнулась бы на слове „уме“».

«Не захлебнулась бы». Я развернулась к ящику, забыв про Лебедева. «Чацкий при ней только что смеялся над Молчалиным, а она Молчалина любит. Она обиделась и, пока говорит, сама в это верит».

«Я бы поверил», вставил Лебедев. «Мне по роли положено».

Младшие на скамьях заспорили между собой, захлебнулась бы Софья или нет. Рыжий мальчишка, тот, у которого в понедельник торчала из кармана химия, кричал, что на Острове Софья и слова бы не выговорила, ему отвечали, что Софья не присягала, и сквозь вальс и спор я не сразу расслышала, что говорит из-за пульта Матвей.

«Софья ничего не утверждает. Она даёт ему договорить».

Тёма уже листал пьесу назад, ведя карандашом по строчкам. «Точно. „Не в своём уме“ бывает и от злости. „С ума сошёл“ говорит господин N., и про приметы спрашивает тоже он. Она только не спорит».

Аркадий Львович развёл руками. «Вот так слух и пускают. Суфлёр, ты мне сегодня за режиссёра».

У Тёмы покраснели оба уха разом.

Вальс пошёл с начала. Лебедев рядом со мной ещё не отсмеялся после своего «ужли». Позавчера у оранжереи Клюева увидела только «без шапки, куртка нараспашку», а фамилию к этому договорила сама, и я смотрела на его расстёгнутую куртку, пока он не спросил, что у него не так.

«Ты позавчера вечером где был?»

Лебедев глянул себе под ноги, проверяя, что стоит ещё на сцене.

«У Фамусова на балу».

«С „Мне кажется“, и дальше до ухода», велел Аркадий Львович.

Я ещё раз посмотрела на Лебедева пристально. «Мне кажется».

«Как можно, в эти леты!»

«Как быть!» Дальше Софья говорит в сторону, и я повернулась к залу. «Готов он верить!»

Эту реплику я проговорила совсем тихо. В понедельник ночью на моё «правда» мама ответила в трубку «Хорошо. Я тебе верю». Аркадий Львович попросил повторить погромче, потому что в сторону говорят для зала, и я повторила.

Дверь хлопнула, и в зал вошёл Савва, в инее от ушанки до валенок, с журналом под мышкой.

«Четырнадцать стоят», доложил он в сторону последней скамьи. «У Барана по дуге, не срезал».

Глеб на последней скамье поднял раскрытую ладонь и опустил.

«Молчалин! Вовремя». Аркадий Львович показал на него через весь зал. «Рассуди нас: врёт Софья или нет?»

Савва развязал под подбородком ушанку и ответил, не заглядывая в роль, с большим достоинством.

«В мои лета не должно сметь / Своё суждение иметь».

Младшие захохотали, а Савва, очень довольный, пошёл к вешалке раздеваться.

Репетировали, пока не стемнело. Третье явление Савва отыграл с Арсением уже по роли и про свои лета сказал там так же важно. За окнами тем временем посинело, и вехи на луде пропадали одна за другой, начиная с дальних, и к концу Саввиной сцены от всей линии осталась видна одна ближняя, у ступени, где днём стоял Глеб со своей верёвкой.

Когда Аркадий Львович нас отпустил, я задержалась у своего глазка, хотя смотреть в него было уже не на что. Глеб дождался, пока разойдутся младшие, и подошёл.

«Ершова». Он встал рядом, у того же окна. «Врать за меня тебе не придётся, это ты уже знаешь. От Вольной мне нужно другое».

«Что?»

«Вопросы». Он повернулся ко мне от окна. «В Зале ты спросила Клюеву, видела ли она лицо, и Инга тебя остановила. Вольный спрашивает по праву».

«Тогда зачем ты сегодня опять просил Тёму?»

«Чтобы ты могла отказаться».

Глазок в инее, пока мы говорили, затянулся. Я продышала его заново и уже повернулась к Глебу ответить, сама ещё не зная, выйдет у меня «да» или что-нибудь материковое, вроде «поживём, увидим», когда от входа его окликнули.

«Глеб». Инга стояла в дверях и ждала, не входя. «Повестку на воскресенье подписывают до ужина. Вольных в ней два».

Проходя к двери мимо пульта, Глеб хлопнул Матвея по плечу, и Матвей, не оборачиваясь, поднял над головой руку. Шестую статью я дочитала прямо там, у окна, при свете из коридора, и первую её фразу перечитывала, пока в коридоре не погасили свет.

Вера заснула над учебником, с лампой, прищепленной к спинке кровати. Я вынула у неё из рук физику и укрыла её одеялом до подбородка. «Двенадцатую и тридцатую», пробормотала Вера, не открывая глаз, когда я уже гасила лампу. Телефон из подкладки я достала уже на лестнице.

Ночь была тихая, без ветра, и с пролива доносилось, как на морозе постреливает молодой лёд. Мама называет этот звук «растёт» и в такие ночи спит спокойно. На колокольне я перешагнула обе ступеньки, про которые говорила Вера, и, пока поднималась, решала, что из сегодняшнего можно рассказать маме, и оставила одну роль. С Глеба у мамы начались бы вопросы, на которые у меня не было Сортавалы.

Вех сверху было не различить, только светлая полоса льда тянулась от береговой ступени к Лодочному. У северного проёма я поднялась на цыпочки, и деление появилось сразу. Мама ответила, не дождавшись конца первого гудка.

«Ну что?»

«У меня роль. В зимнем спектакле».

«Какая?»

«Софья. „Горе от ума“».

Мама помолчала. «Ты же её с девятого класса терпеть не можешь».

«Теперь защищаю».

Мама засмеялась, хотя шутка была так себе, и я тут же спросила то, о чём думала с самой репетиции.

«Мам, ты в школе в спектаклях играла?»

«Не скажу».

Про школу мама всю мою жизнь отвечала только так. Следующий вопрос она задала уже прогнозным голосом, тем самым, которым говорит о льде.

«Залив у вас встал?»

«В ночь на среду».

«Весь?»

«До самого...» Лодочный я оставила при себе. «Весь».

«Чёрный?»

«Снизу чёрный. Белого сверху, когда пробили, вышло всего два».

«Сколько всего?»

«Восемь. Утром мерили».

«Шесть чёрного держат одного».

Про лёд «не скажу» у нас с мамой не водилось никогда, и я отвечала, как Савва пишет в журнал, цифра за цифрой, и следила только за тем, чтобы снова не выскочил Лодочный.

«Кто мерил?»

«Дежурный».

«Вехи поставили?»

«Поставили».

«Сколько?»

«Четырнадцать».

«Четырнадцать до чего?»

Глава 9. Вольная

Пятница, 27 ноября, 16:00

Защищает тот, кто не связан клятвой Острова: его верность принадлежит подзащитному. Утверждать ложное Вольному запрещено. Без Вольного Зал дела не слушает.

Устав Острова, статья 6. О Вольном

На «Четырнадцать до чего?» я ответила с ходу. «До рыбацких домиков на том берегу залива. Тут зимой ходят на ряпушку». Домики на льду и ряпушку я знала по Онего, и Сортавала из них сложилась гладкая. «Хорошо», отозвалась мама. В понедельник за этим словом шло «я тебе верю», и я ждала его, держа телефон над головой, пока деление не погасло. Обратно я спускалась, перешагивая двенадцатую и тридцатую ступеньки, и до самой комнаты гадала, зацепилась ли мама за «дежурного» или просто устала к ночи.

Мамин день рождения наступал в ночь на субботу. Ей исполнялось сорок два, и с первого класса я поздравляла её первой, ровно в двенадцать, опережая бабушку, которая звонит в семь утра и ни минутой раньше. Первые годы я до полуночи не досиживала, и без пяти двенадцать меня будила сама мама. Поздравлять себя она разрешала, только когда я просыпалась окончательно, а бабушке утром докладывала, что первой опять была я. Пропускать полночь из-за какого-то пролива я не собиралась.

Утро в пятницу выдалось ясное, только над материком у самого горизонта тянулась серая нитка, и на построении пар у младших шёл изо ртов одним облаком. Глеб вышел перед строем без бумажки.

«К вечеру шторм с северо-запада. После шести к берегу без дела не ходить, вехи в шесть Савва проверит второй раз. Кто завтра проспит построение, отвечает своими словами».

Кто-то спросил, сильный ли будет шторм.

«Не знаю. Барометр в библиотеке».

Он говорил так же коротко, как со мной на ступени, и строй слушал его не переминаясь, хотя мороз хватал за щиколотки. В младшем ряду закашлялся Лебедев, и Глеб тем же голосом велел ему после построения идти в медпункт.

В библиотеке к четырём зажгли лампы, хотя за окнами ещё не стемнело до конца. Я сидела в своей нише над Уставом и смотрела мимо него, на старый морской барометр у камина. Стрелка с утра ушла от «Переменно» к «Дождю» и теперь подбиралась к «Буре». Весь день кто-нибудь подбегал к нему постучать ногтем по стеклу, и от каждого стука стрелка вздрагивала и сползала ещё на волосок. Я тоже сходила постучать, костяшкой, два раза, как стучит мама по барометру у себя на гидропосту, и после моего стука стрелка уткнулась в самую «Бурю». Мелюзга на ковре зашикала на меня, как на ту, что накликала. На северо-западе над материком уже легла серая полоса, и под ней через весь пролив до Лодочного шла цепочка вех.

Подарок для мамы, новые ножи к её ледобуру, остался дома на антресолях, где я спрятала его ещё в октябре. Глядя на пролив, я придумала другой. Каждый год в свой день рождения мама с утра, в пуховике поверх халата, ходит на набережную посмотреть, встал ли Онего, и, если встал, говорит, что это ей подарок, хотя радости в её голосе я при этом ни разу не слышала. Онего до самого горизонта, когда я уезжала, ещё не встал. Снимок ночного пролива с колокольни, решила я, ничем не отличается от снимка любого другого залива на Ладоге, где ночью видно только белое поле и огоньки на том берегу.

Народу после уроков набралось много, и мелюзга на ковре потихоньку отползала подальше от камина, где в кресле читал Грибоедова и кашлял в рукав Лебедев, которого медпункт, видно, отпустил с миром.

Вера пробегала мимо ниши с охапкой чьих-то мокрых варежек для сушилки и, не останавливаясь, наклонилась ко мне.

«Ночью на колокольню не ходи. В шторм лестница обмерзает, и колокол от ветра гудит, его до самого дома слышно». Она уже выпрямилась и добавила через плечо. «Глеб про тебя с утра спрашивает. Меня два раза».

«Не пойду».

Вера побежала дальше, ничего не переспросив, хотя вчера ночью сама сквозь сон напомнила мне про ступеньки.

Глеб пришёл вместе с Ингой и её папкой, и на ковре сразу перестали шептаться. Через всю библиотеку он направился прямо к моей нише и под аркой пригнул голову, а Инга встала у него за плечом.

«Ершова. Повестку на воскресенье вывесили утром у столовой».

«Видела».

Против строчки «Вольный по делу старосты» на листке было пусто, и против второй, про стекло, тоже.

«Тёма отказал второй раз. Инга впишет имя, только если Вольный согласен, поэтому спрашиваю тебя здесь, при судье. Будь моей Вольной в воскресенье».

Тёма за длинным столом поставил в листке очередной косой крестик. «Семь клеток осталось», сообщил он листку.

Обещание просить за меня при всех Глеб давал на условии, что я соглашусь. Согласия не было, и просил он пока меня одну, только вокруг сидела половина библиотеки, и половина эта больше не притворялась, что читает.

«Прямо здесь?»

«Наедине я тебя уже просил».

Арсений, стоявший с кружкой у окна, на своём месте, откуда причал виден целиком, повернулся к нам.

«Выбирать тебе, староста, не из кого».

«Мне хватит одной». На Арсения Глеб даже не взглянул. «В воскресенье, если будет Вольный, Зал откроет моё дело, и я предъявлю там то, что Остров должен услышать».

«Что именно, староста?» Инга раскрыла папку. «Мне вносить это в повестку».

«В Зале, судья. Днём и при всех».

Инга записала ответ своим ровным почерком и обвела его два раза. На втором круге карандаш у неё скрипнул по бумаге.

«Мне-то скажешь?» спросила я. «Если буду твоей Вольной».

«Когда будешь».

Говоря это, он смотрел поверх моей головы на окно, у которого стоял Арсений. Арсений отпил из кружки.

«Если откажусь?»

«Тогда не услышит никто». Теперь он смотрел на меня.

Отвечать было надо, и я начала, не загадывая, куда выведет фраза.

«Я ещё ни разу...»

«...не врала при всех?» закончил за меня от окна Арсений.

«Она не договорила, Арсений».

Договорить я не могла. Дальше было бы про маму, которая двадцать пять лет назад говорила в этом самом Зале, а после ушла по вехам в Карету, и про её запись в радиоузле, на полке, куда меня пустят только после присяги. Здесь об этом не знал никто. Глеб меня не торопил. Когда стало ясно, что продолжения не будет, он спросил вполголоса, меня одну.

«Страшно?»

«Да».

Он слушал и дальше, хотя я уже молчала.

«Подумаю».

Слышно это было до самого камина.

Глеб пригнулся ещё ниже. «Я и про красивого до сих пор гадаю».

Устав лежал у меня на коленях раскрытым на шестой статье, и я перевернула его обложкой вверх. За окном по стеклу чиркнула первая снежная крупа.

Инга закрыла папку.

«Значит, пока пусто. Надумаешь, найди меня до субботнего полудня: в полдень повестку перепишут начисто».

«По моему делу тоже пусто», подал голос из кресла Лебедев. «Мне не к спеху».

На ковре прыснули, и библиотека снова зашелестела страницами. Арсений поставил кружку на подоконник.

«У нас „подумаю“ говорят, когда „нет“ не выговаривается».

«Я не присягала. У меня выговаривается что угодно».

«Тогда скажи „нет“».

«Нет» было у меня наготове, сказанное за жизнь тысячу раз по любому поводу, и как раз его я не сказала. Арсений забрал с подоконника кружку и добавил уже через плечо.

«Только думай заодно, рядом с кем будешь сидеть. Зал станет решать, сдал ли он нас материку».

Промолчала я и на это, хотя сама звонила на материк с колокольни и сегодня собиралась снова.

Глеб всё это время стоял под аркой и слушал нас обоих. Когда Арсений отвернулся к своему причалу, Глеб надел шапку и ушёл. Инга со своей папкой пошла за ним.

Из окна ниши я видела, как он пересёк двор и встал на береговой ступени, там, где кончается присяга, лицом к луде. Я поднялась и уже потянулась за курткой, когда в нишу пришёл Тёма и сел на самый край подоконника, разглаживая на колене свой листок.

«Если бы я согласился в первый раз, ты бы сейчас не думала».

Уши у него были белые, и спорить было не с чем.

«Ты бы тогда присягал весной», напомнила я.

«Может, и весной». Он провёл пальцем по пустым клеткам нижнего ряда. «В старой школе меня проверяли по ушам. Химичка ставила меня к окну, чтобы свет падал сбоку, и спрашивала, кто разбил колбу. Здесь по ушам не проверяет никто. Присягну, и меня можно будет просто спросить».

Он согнул листок пополам и всё водил большим пальцем по сгибу, пока сгиб не стал острым.

«Если соглашусь, ты мне что, будешь подсказывать из-за спины, как на репетиции?»

Тёма поднял голову.

«Суфлёра в Зал разве пускают?»

«Спроси у Устава».

Он и правда полез в Устав и листал его с самого начала, ведя пальцем по статьям. Я смотрела, как он ищет, а Глеб на ступени тем временем стоял под летящей крупой, и крупа понемногу ложилась ему на плечи.

«Про суфлёров тут ничего нет», доложил Тёма через минуту. «И про подсказки тоже. Значит, не запрещено».

Тёма сунул сложенный листок обратно в Устав и, уже выходя из ниши, обернулся.

«Если что, я сяду сзади».

Когда я снова посмотрела в окно, на ступени никого не было.

До ужина я поднялась в комнату. Веры не было, и я поставила телефон заряжаться в её розетку за кроватью, куда уходил провод от лампы на прищепке, и сидела рядом на полу, пока

полоска заряда не доползла до самого верха. Я завела будильник на без пяти двенадцать, без звука, на одну вибрацию, и сунула телефон обратно в подкладку. Свитер и вторые носки я сложила у кровати, чтобы ночью не шарить по шкафу в темноте.

Ужин по пятницам из-за бани давали в семь, и я дошла до столовой раньше всех. Повестка висела на двери с утра, приколотая кнопкой, как роли в среду, и наверху стояло «Конференция. Воскресенье, 29 ноября, 12:00, актовый зал». До меня её уже кто-то читал. Против строчки «Вольный по делу старосты» карандашом, мелко, было приписано «Ершова?», а ниже другой почерк сообщил «думает». Против строчки про стекло никто ничего не написал. Бумага на Острове свободна, и спросить на ней мог кто угодно. Я стояла перед своей фамилией с вопросом, поставленным не мной. Карандаш висел тут же, на верёвочке, но вопросительный знак я зачёркивать не стала и решила, что за ужином подойду к Глебу и скажу «да» при всех.

Столовая наполнялась долго. За окнами мело всё сильнее, ветер толкал рамы, и стёкла в них дребезжали. Вера рядом со мной жаловалась, что к утру верёвку колокола обметёт льдом и сбивать его придётся ей, с самого низа и до верха, сколько дотянется. Глеб сел на своё место в дальнем углу, Матвей рядом, и Матвей, не глядя, придвинул ему солонку. Пётр Ильич подсел к ним с краю со своей тарелкой, не снимая ватника, а доев, сунул Матвею под нос бумажную салфетку, завязанную бантиком. Матвей засмеялся первым, за ним лодочник, утирая глаза кулаком. К дизельной Пётр Ильич ушёл ещё до второго, на ходу застёгивая ватник. Я ела суп и с каждой ложкой повторяла про себя «да», одно слово, чтобы не сбиться, когда придёт время, и, когда Вера спросила, буду ли я добавку, оно чуть не выскочило у меня и ей. До его угла было шесть столов, и я пересчитала их дважды. Когда Глеб отставил тарелку, я подняла кружку с компотом, на два пальца, как он поднял свою в мой первый вечер, но смотрел он в эту минуту в тёмное окно.

Я уже перекинула ногу через скамью, когда дверь распахнулась и с порога Пётр Ильич, весь в снегу, объявил на всю столовую, что ему нужны двое: поднять лодку повыше и закрыть ставни у дизельной, пока не сорвало. Глеб поднялся первым, за ним встал Савва. Проходя мимо нашего стола, Глеб посмотрел на кружку, которую я всё ещё держала на весу.

«До воскресенья».

Они ушли за лодочником в метель, и кружку я опустила, только когда за ними закрылась дверь. Из окна столовой берега было не видно, только три фонаря качались где-то внизу, у лодки, и снег то и дело их прятал. Сказать ему я решила утром, за завтраком, раньше Ингиного полудня.

Его «до воскресенья» осталось последним, что он мне сказал.

Глава 10. Шторм

Пятница, 27 ноября, 20:00
21:40 кабель. 21:42 запуск. При дизеле до утра. П. И.
Журнал дизельной, 27 ноября

В восемь колокольня пропала из окна. Когда я поднялась с ужина, она ещё стояла на скале, серая за метелью, и рядом, на соседней скале, качалась в тросах мачта антенны, а теперь всё стекло заполнил летящий снег, и о том, что колокольня на месте, говорил только гул. Он шёл оттуда на одной низкой ноте, на каждом порыве нота тянулась, пока ветер её не отпускал, и я чувствовала её локтями через подоконник. Шарф, который я во вторник затолкала в щель под рамой, ветер понемногу выдавливал внутрь, и по подоконнику к Вериной банке с морошкой бежала тонкая белая струйка.

Вера сидела на кровати, поджав ноги, с физикой на коленях, и на первом же гуле подняла голову.

«Пришёл».

Она отложила учебник и послушала ещё, склонив голову к плечу.

«При мне он так гудел два раза. Оба раза с северо-запада».

Я смотрела вниз, во двор, где под фонарями ещё что-то можно было разобрать. В четверть девятого от берега поднялись три огня. Два прошли через двор к крыльцу, третий повернул обратно, вниз, к дизельной. Который из двух нёс Глеб, я не знала и смотрела на оба, пока их не спрятал козырёк над крыльцом. Внизу хлопнула входная дверь, и с лестницы, этажа на два ниже, донеслись голоса. Я сразу узнала голос Глеба, хотя слова до третьего этажа не долетали, и скоро их увело в коридор. Спуститься к нему было делом двух минут, но просил он меня при половине школы, и отвечать ему шёпотом на лестнице я не собиралась. Я затолкала шарф обратно, поглубже, и смахнула снег с подоконника на пол.

Письмо маме я начала ещё до ужина, на двойном листе из тетради по истории, и за целый час не продвинулась дальше первой строки. «Мама, с днём рождения!» Восклицательный знак вышел жирный, с кляксой. Теперь я снова села к столу, спиной к Вере, и принялась грызть колпачок ручки, который к тому времени и так был изжёван до бахромы.

«Кому пишешь?» спросила Вера из-за физики.

«Короче, маме. У неё в полночь день рождения».

«Поздравь от меня. И напиши, что от звонаря».

Я написала слово в слово. «Тебя поздравляет Вера, моя соседка, она звонарь». Над последним словом ручка у меня повисла. Звонарей в сортавальских интернатах не держат, а мама, которой в первый же вечер хватило моего «я на крыше», чтобы спросить, правда ли я в Сортавале, на звонаре спрашивать бы уже не стала. «Звонаря» я зачеркнула, и Вера осталась в письме просто соседкой.

С остальным вышло то же самое. Про спектакль мама уже знала, всё прочее за эту неделю было Островом, и любую фразу о нём приходилось либо зачёркивать на середине, либо доводить до Сортавалы, то есть врать письменно. Враньё по телефону уходило у меня вместе с голосом. Письмо мама положила бы в ящик кухонного стола, где хранит все мои открытки, начиная с детсадовских зайцев, и выдуманные рыбацкие домики лежали бы там рядом с ними, пока ящик не рассохнется. Дальше всех я дописала строчку про варежки с морошкой, «мне дали поносить варежки одной девочки, её зовут», и на имени остановилась. К девяти под поздравлением набралось шесть зачёркнутых строк.

Тогда я взяла чистый лист. «Мама, я не в Сортавале», вывела я первой строкой.

Ничего не случилось. Колокол за окном гудел на прежней ноте, и за спиной у меня Вера перевернула страницу. Дальше я писала, не перечитывая, и почерк у меня, как всегда, когда я тороплюсь, поехал вниз по листу. Про лёд вышло цифрами, как она любит. «Восемь у ступени, шесть чёрного, это про наш лёд ты вчера сказала, что держит одного. Я на него не хожу». Над Глебом я сидела дольше всего. «Тут есть мальчик» я зачеркнула, едва написав, потому что от «мальчика» мама насторожилась бы с первого слова и дальше читала бы про него одного, и написала вместо этого другое. «Тут есть Глеб, староста. Он просил меня быть его Вольной, это вроде адвоката. Завтра за завтраком скажу ему да». Зачем я приехала, вышло совсем коротко, раз остальное мама знала лучше меня. «Я знаю, как тебя тут зовут. Я хочу послушать, что ты сказала в Зале».

Подписалась я так, как отвечаю ей в трубку на «люблю тебя», и ещё держала ручку над точкой, когда погас свет.

Погасло всё разом, от лампочки под потолком до фонарей во дворе. В темноте гул колокола придвинулся, и сквозь него стало слышно, как снег шуршит по стеклу.

«Кабель».

Вера начала считать вслух по секундам, а я сидела над письмом, которого не видела, и думала о том, дойдёт ли до колокольни сеть. Сеть шла с материка по воздуху, и кабелю до неё, по всей видимости, не было никакого дела, но в вышках я понимала столько же, сколько в дизелях, и, пока Вера считала, представила себя в полночь у северного проёма с пустым экраном, а маму на кухне, до утра ждущую звонка. На ста двадцати лампочка мигнула и разгорелась вполнакала, мелко подрагивая. Комната в таком свете сжалась, и фотография колокола над Вериной кроватью ушла в тень целиком, от неё остался один блеск стекла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.